

Золото Хаим-Шаи

Если бы не война – никогда бы Лёвке Школьнику не жениться на Эшке Лис! Хоть и было известно всем и каждому, что она кривобокая.

И не потому не годился ей Лёвка, что старый Лис считался одним из самых состоятельных граждан города. То есть в центре и на Новом Плане были, конечно, и настоящие богачи: какой-нибудь председатель горисполкома... главврач областной больницы... командующий военным округом... доктор Копытман... Но те все существовали... заоблачно, вроде как языческие божества: прямого отношения к жизни города они не имели. Слыхали что-то о специальном доме отдыха... о дне рождения Гали Коваленко, на котором её одноклассников угощали мандаринами и пирожными... Но прямых очевидцев этого пира не было. У кого-то там какая-то подруга слышала... Короче, существование это так же не способно было вызвать зависть, как торжества в Кремле или на Олимпе. Для тех, разумеется, кто об Олимпе читал.

Читали, кстати, многие: город щедро порождал таланты и оригинальные умы – но не способен был удержать их при себе. Так что гордость города, его высокая самооценка имели трагический надрывный крен. Все эти “сыновья Збарского”, “дочери Яблонского”, “дети Гурфинкеля”, юные профессора, солисты оперы и балета блистали в недостижимых высотах, стремясь поскорее выдернуть последние корешки из своей пролетарской среды или из столь же неприятной – хотя и по-другому – непролетарской.

Надо сказать, и в самом облике, в самом устройстве этого города просматривалось нечто трагическое. Он был расколот пополам глубочайшим каньоном. Казалось, эта вертикальная трещина появилась какую-нибудь минуту назад, обнаружив чистую быструю речечку на дне. А домики, набросанные кое-как вдоль узкого берега, только что попадали туда сверху.

Каньоном принято было восхищаться, гордиться и сравнивать его со Швейцарией. Но, по правде говоря, от этого жуткого великолепия, от невесть кем выстроенных неуверенных лестниц кружилась голова и почти тошнило. Мерещилось, что вертикальные грандиозные стены вот-вот снова двинутся навстречу друг другу и, походя хрустнув двумя мостами, сойдутся так, что под сплошной травой не останется и тонкого шва.

Или ещё хуже: хлынет вдруг дождь... тяжелый, неумолимый... и маленькая речка начнёт расти, подниматься всё выше, пока не уляжется удобно, вровень с богатыми холмистыми берегами, прямо под брюхом “самого высокого в мире моста”. А то ещё однажды ночью засыплет её доверху снегом, щель эту, безумную эту пропасть, где каждый год что-нибудь ужасное случается...

Чего только тут не насмотрелись...

Будто привет из верхней части города, казавшейся отсюда, снизу, невысказанно благополучной, падала с моста безнадежно влюблённая гимназистка Фанечка Брон – на виду у всех, как чёрная роза, расцветающая на лету... падала так долго, что успели расплестись её длинные косы, пока она достигла дна неподалеку от песчаного жёлтого берега...

Чуть позже сумасшедший Васька-Принц белым аистом пронёсся наискось, вдохновенно расталкивая длинными голыми руками тугой январский воздух...

Но больше всего потрясла выброшенная из проезжающего по мосту “габрилета” коробка шоколадных конфет. Моська-гиб-а-фоць, маленький городской шут и вонючка, который мог в любой момент по заказу задрать ножку, издавая при этом долгий мелодичный звук, кинулся за коробкой и вытащил её из воды почти невредимую!

Куда меньше шума было и разговоров, когда через год утонул сам Моська. На том же месте, среди целой оравы смеющихся детей, уверенных, что Моська дурит, притворяется... Так противно, так комично пищал он: “Маменю!! Маменю!!” И хотя под водой Моська пробыл всего несколько секунд, откачать его не удалось. Люди толпились вокруг, более всего поражённые тем, что он может быть таким неподвижным и серьёзным... Таким красивым.

Казалось, Господь вышел из себя и положил конец надругательству. Хватит! Не для того он ваял такие веки, такие ноздри, чтобы они вечно ёрзали в паскудных гримасках!

А сколько детей соскользнуло с оледенелых каменных ступеней, по которым каждый день они карабкались вверх, в школу... Не очень-то их и считали. Рожали. Хоронили. Ехать до кладбища приходилось далеко, через Русские фольварки. Больше ничего из Швейцарии и не вывозили... Да и туда мало что везли. Муку. Дрова. Тиф, скарлатину, корь, которые, быстро плодясь на узком пространстве, избавляли нищие семьи от лишних ртов.

Однажды, прямо вслед за тифом, с Русских фольварков в ущелье вошли остатки разбитой петлюровской армии. Брать было нечего, зато было на ком выместить досаду и гнев – так что тех, кем побрезговал тиф, прибрал знаменитый погром двадцать первого года. Население, по большей части опухшее от голода, не сопротивлялось. И прятаться было негде, и бежать некуда – разве что карабкаться вверх по отвесной розовой стене, которая так эффектно получалась на акварелях художников-любителей.

Домик моего прадеда лепился прямо к этой стене. И прадеда, и прабабку зарезали. А дед мой жил в верхней части города. Он вовремя увёл свою семью в широкие поля за крепостью. Там они скрывались несколько дней то ли в пшенице, то ли в высокой траве.

Разумеется, и наверху был не рай. И там погибали, умирали от того же тифа, от голода, но как-то... более пристойно. С доктором. С раввином. С привычным белым камешком над могилой. Не было такой обречённости. Попытались выжить, обращались к богу, обращались к американским родственникам. Была даже песенка такая: “ОРА! ОРА! Я вас умоляю! Пришлите мне посылочку, а то я умираю! ОРА! ОРА! Посылочку я продал, три миллиона выручил и финотделу отдал!” Впрочем, в разное время пели по-разному. То “миллионы”, то “копейки”...

Внизу же и понятия не имели о том, что существует какой-то “ОРА”.

Наверху мой второй дед, когда тиф в тот же злополучный год доконал его истощённую жену и маленькую дочку, катался по полу и кричал: “За что?!” Внизу же дети выглядели так, будто сами удивляются, почему до сих пор не умерли.

Если бы не это угрюмо-виноватое выражение лица, если бы не глубоко посаженные глаза, в которых просвечивало, как порок, наглое желание выжить, и Лёвка Школьник, и брат его Нуська были бы почти красавчиками. Уж во всяком случае – Нуська. Разумеется, уродовали их и плохо остриженные узкие головы. И рубашки, тесные, залатанные, давно позабывшие свой первоначальный цвет. А позорные брюки, сразу доставшиеся им со своими несмываемыми пятнами? Казалось, всё это унаследовано ими от каких-то мертвецов. И, скорее всего, так оно и было.

Короче, они выделялись своей жалкой нищетой даже в этом городе, где нищета никого не удивляла. Каждому было приятно, что есть кто-то ещё хуже, чем он сам. Говорили, что погромщики не тронули Школьников, потому что побрезговали войти в их халупу... Ну... это, конечно, для красного словца: бандиты были не местные и ничего о Школьниках не знали. Да, собственно, и многих других швейцарцев Бог миловал в тот несчастный день.

Уцелевшие поспешили перебраться в верхний город. Но не все. Кто-то имел в Швейцарии собственную развалюху, у кого-то не было сил на перемены, веры в их благотворность...

Швейцарцы вообще были склонны к пессимизму. Известный еврейский жест – взмах руки чуть от себя в сторону и вниз, означающий: “всё равно, мол, и так, и так плохо, на лучшее надеяться нечего!” – они обогатили особой оттяжкой. Будто человек, изрекая истину, заодно ещё и хорошенько высморкался.

Сами-то Школьники были как раз не из философов. И не гнилая лачуга удерживала их в Швейцарии. Соседям Школьники говорили, что у них нет денег нанять лошадь. Но, скорее

всего, они стыдились выставить на всеобщее обозрение домашний скарб, который спокойно можно было перетащить и без всякой лошади.

Они вообще всячески скрывали свою нищету. Всегда плотно занавешивали два окна, чтобы любопытный не мог заглянуть к ним и убедиться, что в доме действительно нет даже постельного белья и все спят прямо на голых тюфяках и подушках. Лёвка с Нуськой не пускали приятелей в дом. Открывали осторожно дверь, просовывали в щель голову... потом – плечи... и, судорожно скользнув, захлопывали дверь спиной. Но вонь, будто сдавленная внутри, успевала прорваться, толкнуть прищельца в лицо, так что он шарахался назад – и больше не пытался соваться, куда не следует.

Что это была за смесь? Чеснока и пропотевших матрацев? Керосина? Чадающей печи? Скисших помоев? Столярного клея? Мышей? Старого жареного сала? Грибка? Плесени? Дешёвой селёдки? Подсушенных пелёнок? Замоченного белья?

Хотя Ривка Школьник вечно что-то мыла, что-то стирала, что-то развешивала на чёрных верёвках, а мальчишки не вылезали из реки с апреля по октябрь – пахло от них почему-то всегда одинаково. Запах родительского дома не смывала холодная река, не сдувал настоянный на травах ветер. Так что одноклассники, вовсе не придирчивые к запахам, старались сесть от них подальше. А они и не навязывали никому своего общества. Не приближаясь, смотрели исподлобья своими коричневыми глазами... смеялись негромко.

В этом, несомненно, было своеобразное достоинство. Казалось, они и учатся плохо не от тупости, а потому, что считают для себя неприличным отвечать бойко, лезть вперёд других и вообще оказываться в центре внимания.

Пожалуй, больше, чем все остальные дети, они осознавали себя как явление на этом свете временное. Мать их вечно ходила с большим отвислым животом. По виду этого живота они примерно знали, когда ожидается кошмар очередных родов. Затем на верёвках появлялись застиранные пелёнки, оставшиеся от прошлогоднего младенца. Месяц, пять, десять месяцев они развевались на стремительном швейцарском ветерке... До первой простуды, до первой заразы... И рос уже новый живот. Быстро забывались и имя, и личико. Только прибавлялись на незастеленных древних бебах жёлтые ореольчики младенческой мочи – и казалось, что в этом, собственно, и заключается смысл каждой коротенькой жизни.

Но вот Лёвку с Нуськой ни одна зараза не брала! То ли они закалились в таких невыносимых условиях существования, то ли от природы получились особо выносливыми...

Нуську мать родила зимой на знаменитой швейцарской лестнице. Понесло её ни свет, ни заря в верхний город на базар. На каменных ступеньках она поскользнулась – но съехала не вниз, а вбок, на площадочку. Повезло! А Лёвку она родила в погребе во время последнего погрома. Именно по погребам бандиты и шарили в первую очередь, но, надо думать, у Господа на Лёвку с Нуськой были другие виды.

Ещё до начала войны Лёвка с Нуськой стали резко меняться. Сильно подросли, широко развернули плечи. Смелее стали их тёмные глаза. Длинные голодные рты потихоньку осваивали новый вид улыбки.

Лёвка первый стал отпускать волосы и укладывать их назад с помощью вязаной сетки. Чёрные, жёсткие кисточки топорщились из каждой ячейки, что мешало девушкам заметить явный поворот к лучшему. Так его, не оценённого, и забрали в армию. Точнее, в морфлот.

Нуська брату очень завидовал, но был он пожиже, и на флот его не взяли. Перед самым уходом в армию Нуська успел пережить тайную драму: Фира Шульман, чьё гордое внимание он мечтал обратить на себя с помощью бескозырки, тельняшки и ремня с золотым якорем на животе, вышла замуж за Мишку Кацнельсона. А Нуська-то надеялся, что она будет писать ему в армию, присылать фотокарточки...

Знай тогда Фира об этих Нуськиных фантазиях – померла бы со смеху! Хотя ничего такого уж особенного она собой не представляла. Высокая, конечно. Личико правильное, кудряшки... Кусочек кружева, подшитый к треугольному вырезу платья и призванный

создавать видимость богатого белья... Как все, короче. Особо задаваться ей было нечем. Хотя она и приходилась племянницей богатому Хаим-Шае Лису. Точнее, его жене.

Вообще-то богатым в городе считался человек, семья которого не голодает. А семья Лиса вполне пристойно пережила даже тридцать третий год. Более того! В самое страшное время, когда по городу два раза в день проезжала подвода, собирающая трупы умерших от голода, Лис вдруг поднялся и повёз свою десятилетнюю дочь в Киев к профессору. И добро бы у девочки был туберкулёз, или глухота, или какая-нибудь язва... Ничего подобного! Что-то Хаим-Шае не понравилось в её спинке. Он испугался, как бы не сделался горб, и потащил девочку бог знает куда. Только до станции надо было добираться больше часа!

Заслышав конский топот и громохание подводы, люди подходили к окнам взглянуть, кого повезли на этот раз – и обнаруживали вполне живого Хаим-Шаю, обнимающего одной рукой хорошенькую Эшку, а другой рукой – плетёный жёлтый чемодан.

Брайна Лис, хоть муж и считал её дурой, правильно предсказала: “Зачем этот шум? Чтобы весь город обсуждал, что она у нас кривая? Ей же надо замуж выходить, а ты сам пускаешь такую сплетню!” Лис отвечал только жестом, который означал, что он с женой не собирается спорить, что бессмысленно спорить с “пустым местом”. Этими двумя словами он обычно заменял имя своей жены, беседуя с уважаемыми людьми, которые их когда-то сосватали.

Хаим-Шая Лис был в городе чужим человеком. О прошлом его ничего не знали. Он появился однажды в синагоге и после молитвы подошёл к старикам, занимавшим лучшие места. Спросил, где можно снять приличную комнату и есть ли в городе порядочная девушка, из которой получилась бы преданная еврейская жена и мать. Он показал свои документы и заверил стариков, что девушка не пожалеет. Что человек он правильный и аккуратный, а главное – высокого класса ювелир, так что всегда сумеет обеспечить своей семье сытое и спокойное существование. Старики, прикинув, что в их городе и в лучшие времена не было спроса на ювелиров “высшего класса”, решили всё же сделать доброе дело: пристроить неказистого парня, которому ещё лет десять назад следовало поторопиться с женитьбой. Действительно: снимая шляпу, пришелец обнажил плоскую лысину, а в бороде его явно поблёскивала седина... Красавцем он не был, но жёсткая, широкая борода очень удачно скрадывала худобу лица и непомерную длину тонкой шеи.

Девушек в городе имелось предостаточно, но решили, что на этот раз пора пристроить пересидевшую Брайну Шойхет. Брайна считалась невестой не из самых бедных и отнюдь не уродиной. Но что-то в ней было... особое, неприятное... Какое-то пугающее равнодушие ко всему вокруг и к себе в том числе. Как-то так она пожимала своими прямыми плечами, что каждый предпочитал ей кого угодно. Но тут постановили, что хватит обходить Брайну. Что эдак она и вовсе останется старой девой. И, в конце концов, из себя она куда лучше этого ювелира, белесо-русого, с сединой, со щеками, втянутыми в рот наподобие песочных часов.

Резину тянуть не стали. Свадьба была скромная. Невеста сидела с таким видом, будто не имеет к происходящему никакого отношения, а в скучно-серых глазах жениха стояла такая непроходимая уверенность в себе и в своей способности уберечься от любой напасти, что всем даже интересно стало, как у него это получится.

На Базарной площади, невидимые в облаке сухой серой пыли, мальчишки дрались из-за подобранного с земли огрызка яблока. Другие в безнадежной готовности поднести кому-нибудь мешок или ведро воды сидели на расшатанных ступенях деревянного рундука, горлана “русскую песню”.

“Вот перед вами мусь-е-е!
А под носом – сырая погода-а!
Называется это – купе-е-ец
образца двадцать первого года!

Вот перед вами мусь-е-е!
Он обтрёпан! Он голый и босый!
И тут у него лампасе-е!
А тут у него – папи-росы!”

И вдруг над их головами что-то зашуршало, подёргалось, и открылось окошечко, напоминающее дырку в заборе. Оттуда высунулся Хаим-Шая Лис – приезжий жених, точнее, уже муж. Покрутил головой и, удовлетворенный, по-видимому, погодой – больше, вроде бы, было нечем, – вышел на площадь и прибил над окошком скромную эмалевую вывеску, белым по синему: “ЮВЕЛИР”, после чего вернулся в свою лавку и стал спокойно ждать.

И что же? В тот же день у доктора Копытмана сломалась дужка на пенсне! Из золота она была или нет – так никто и не узнал. Но Хаим-Шая её починил. Заодно он починил Копытману часы, простоявшие двадцать лет. И какой-то особый замок, который тот уже собирался выбросить. Он исправил крошечные весы аптекаря и даже немецкую челюсть тещи Ицковича.

Тут стало ясно, что Хаим-Шая Лис – действительно ювелир высшего класса. А вскоре он нащупал и свою действительно золотую жилу. Примусы! Не было такого примуса, который бы Хаим-Шая Лис не мог вернуть к жизни. Пусть бы этот примус побывал даже под колёсами поезда!

Вот за кого отдали малахольную Брайну! Спыхватился город – но поздно. Конечно, и она человек, и ей надо жить, но Брайна могла бы жить и поскромнее.

Главное, счастью своему она нисколько не радовалась, не ценила... Будто так и надо: ходить в кожаных ботинках, в то время как весь город стучит деревяшками!

С таким же хладнокровием отнеслась она и к появлению своих детей.

Сначала родилась Эшка, затем – Арончик. Но Брайна не оказалась преданной матерью – так же, как и преданной женой. Её не будил по ночам крик младенца. Хаим-Шая Лис сам поднимался менять детям пелёнки. Купал. Лечил. Сам решал, когда их отлучать от груди. Даже кашу предпочитал им варить сам. Не потому, что считал жену неспособной справиться с такой задачей. Он вообще предпочитал обходиться без чужих рук: полагал, что люди в большинстве своём работают небрежно, без точности. Иллюстрировал это недоверие один из его многочисленных “личных” жестов: неторопливое движение руки от затылка в сторону, с последовательным сгибанием длинных пальцев. Жест этот мог сопровождаться соответствующим прищуром. Ничуть, кстати, не высокомерным. Такого, чтобы Лис осудил кого-нибудь, над кем-то поиздевался – не бывало. Даже стариков, сосватавших его с Брайной, он ни разу не упрёкнул. Но и услышать от него похвалу можно было крайне редко. Годами вспоминали, как Хаим-Шая сказал о ком-то: “О-о! Из него мог бы получиться ювелир!”

Конечно, над ним посмеивались, тем более при такой фамилии. Уж очень она ему подходила! То есть хитрым он вовсе не был, и ничего лисьего не было в его чертах. И всё же – подходила... Может быть, из-за этой его тихой и непоколебимой уверенности в себе.

Естественно, ему завидовали. Ждали, когда он, наконец, оступится. А вместе с тем и каждую его удачу принимали с азартным удовлетворением: будто умелый биллиардист вогнал в лузу ещё один шар. Издалека! Из безнадежной позиции! Даже историю с кривой Эшкиной спиной сопровождали восхищённым цоканьем языков.

Надо же! Другой бы ничего и не заметил!

Другой не знал бы, что делать!

Другой не пробился бы к лучшему столичному профессору!

Маленькой Эшке не только не повредило то, что весь город узнал о её дефекте, но даже наоборот – прибавило популярности. Подумаешь – надели ребёнку корсетик! Так ведь до недавнего времени все женщины в таких ходили! Даже забавно было: совсем махонькая – и в корсете.

Никто не сомневался в том, что Хаим-Шая, который исправил часы и немецкие зубы, уж как-нибудь исправит и спину своей родной дочери. Ну такая забавная получилась девчужка! Такая живая! Хоть и походила личиком на мать. Всё ей надо увидеть: и что далеко, и что под носом. Оттого и ходить она начала куда раньше, чем положено. Спешила поскорее на пол, к детям, а то без неё там порядка не будет!

И действительно: так оно всегда и получалось. Где какая драка, ссора, недоразумение – бегут за Эшкой. И Эшка торопится на помощь, заранее улыбается в полном убеждении, что ссора пустяковая, что все хорошие, что всё запросто уладится, стоит только ей, Эшке, появиться. Войдёт она во двор или покажется на улице с этим своим терпеливым и радостным “ну что там у вас?” – и дети начинают переглядываться: не могут вспомнить, с чего началось и какая, собственно, разница, чей мяч, раз игра всё равно общая.

Казалось бы! Отец – малахольный от большого ума. Мать – малахольная от глупости. А девочка вон какая!

Ясно, что эта уверенность в своих силах досталась ей от отца. “Уж если я за что возьмусь...”

Стоило взглянуть, как Хаим-Шая Лис смотрит на Эшку! Как он потирает руки. Будто только что кончил мастерить её этими самыми руками. Сам установил большие тёмные глазки, снабдил их золотистыми бровками и ресничками, сам отполировал до такого драгоценного сияния! Вырезал пухлые губки, отрегулировал самую милую в городе чуть-чуть неровную улыбку, наладил звонкий голосок. Он-то, Хаим-Шая, говорил – будто слова клещами откусывал. А Эшка, как канареечка, чирикала негромко, но так увлечённо, так складно, без запиночки!

Даже совсем взрослые парни, бывало, останавливались, чтобы послушать про киевский трамвай, который, как жук, поднимается вверх по отвесной стене. Эшка считала, что когда-нибудь такой же трамвай построят и у них в городе, чтобы легче было спускаться в Швейцарию на речку.

А как забавно она рассказывала про гигантскую лошадь, которая танцует в цирке, наряженная в сарафан и платочек! И как она копытом концы платочка поправляет! И что на шее у неё белые бусы! Ей-богу, после Эшкиного рассказа можно было только разочароваться, увидев эту лошадь!

Не менее интересно было слушать о походе к профессору. Стены, мол, у него сложены из книг! Шкафы – стеклянные, и лежат в них маленькие и большие разноцветные камни. А лечил он Эшку целый час! Молотком, иголкой и зелёной.

Проходя мимо дочери, Хаим-Шая обязательно проводил ладонью по её спинке – ласковым, но вместе с тем поправляющим жестом. И Эшка тут же покорно выпрямлялась с чуть виноватой, но несколько не испуганной улыбкой.

То ли Эшке в её корсетике было неудобно бегать, то ли она от природы была слишком усидчива, но в детских играх она участия почти не принимала. Чаще сидела на лавочке со старухами и что-нибудь вышивала: платочек, салфеточку... Она довольно легко освоила техники, которыми пользовались лишь очень опытные вышивальщицы. Ришелье... Рококо... Цветы на её платочках получались выпуклые. Как живые. Старушки изумлялись и говорили Эшке, что в такие платочки сморкаться не только жалко, но ещё и неудобно. На что она, не задумываясь, отвечала: “А я их вышиваю специально для слёз!”

Милое личико Эшки почти не меняло своего выражения. Но ручки... Они были забавнее всего! Небольшие, широкие, с длинными ловкими пальчиками... Казалось, это две

сестрички, каждая со своим характером, со своим отдельным мнением. Стоило посмотреть, как Эшка разглаживает на коленях очередную салфеточку! Правая ручка движется по ткани, растопыренная от восхищения, а левая чуть приподнялась, чуть сжалась напряжённо. Будто подметила что-то неудавшееся и не хочет ещё сознаться в этом, но вот-вот соберётся с духом и начнёт выпарывать стежок за стежком. Хаим-Шая очень ценил в Эшке такую скрупулёзность.

Короче, с дочкой ему повезло. А вот с сыном... Не то чтобы он был с каким-то явным дефектом... И не урод. Так себе... Незаметный парнишка.

Никто не стал бы присматриваться к недостаткам Арончика, если бы он не был сыном Хаим-Шаи, который не только восхищал, но и раздражал город своей самоуверенностью. И не только город – он и домашних раздражал. В ответственных случаях Хаим-Шая мог выйти на кухню, отодвинуть от плиты жену или тещу, отнять у них недостаточно чисто ошпипанную курицу... Без слов вытягивал из рук шумовку, убавлял огонь, досыпал соль. Бульон у него получался действительно прозрачный и красивый. И пусть бы он при этом похвастался! Или даже упрекнул бы: вот, мол, как надо! Именно его равнодушие вызывало особую злость. Хотелось сказать что-нибудь плохое об этом бульоне...

Словом, ясно, почему каждому было приятно, что сын у него получился не ахти. То есть поначалу даже славный был младенец: беленький, как сметана, глазки светло-серые, большие, жалобные. По виду, правда, не жилец, и болел без конца... Но стараниями Хаим-Шаи не умирал, только становился всё более и более странным.

В городе подшучивали, что, мол, Брайна родила его от “гоя”. Действительно, попадались такие деревенские парни, особенно среди поляков. Бесцветные, длинноголовые, с высокой кадыкастой шеей, с худой крепкой грудью, на которой любая одежда сидит странно, как на деревянной чурке. И походка враскачку, будто ему неохота переставлять свои короткие ноги.

Надо было знать Брайну для того, чтобы оценить этот городской юмор – тем более безобидный, что Арончик был почти точной копией своего отца. Даже выгорелые русые волосы, зачёсанные набок, не скрадывали плоского, как полка, темени. А поскольку никогда не было в Арончике юношеской лёгкости и свежести, то казалось, что стоит только отпустить ему бороду – и начнут их путать.

В отличие от родителей, которые казались себе людьми нормальными, Арончик свою малахольность сознавал и явно тяготился ею. Несчастные глаза его, прозрачные и глубокие, смотрели так, будто он через силу заставил себя их открыть – и перестарался. Каждому, кто сталкивался с этим взглядом, хотелось развести руками, а то и извиниться. А ещё лучше – прошмыгнуть незамеченным.

Однако, ко всеобщему недоумению, сам Хаим-Шая не воспринимал сына как свой промах, неудачу. Для Хаим-Шаи это был просто другой материал, другой предмет; на него требовалось больше труда, больше времени.

Арончику не было ещё и трёх лет, когда отец без всякой досады заключил, что интеллигент из него не получится, не получится и “хороший ювелир”. Поэтому, как только Арончик закончил семилетку, Хаим-Шая пристроил его учеником к лучшему в городе парикмахеру. Учитель был Арончиком вполне доволен. Говорил, правда, что тому не хватает особого парикмахерского артистизма, умения очаровывать клиента светским обхождением, развлекать его непринужденным разговором и остроумными анекдотами. Впрочем, он уверял, что дело это наживное, придёт со временем...

То есть, вроде бы, снова всё в порядке, всё наилучшим образом.

Но Хаим-Шае до совершенства и тут чего-то не хватало! Он и тут увидел что-то такое, чего другие не замечали! Вдруг оказалось, что и этого неприметного Арончика, похожего на деревенского поляка, тоже надо везти к профессору! И тоже, конечно, в Киев. Поближе нет никого, кому бы доверял Хаим-Шая! Видно, просто человеку некуда деньги девать.

Ну, может, с Эшкой он и прав оказался. Спина у неё и вправду была не совсем ровная. То есть... если бы не Хаим-Шая, никто бы ничего, разумеется, не заметил. Мало ли как люди

стоят! Один вперёд наклонился, другой руку в бок упёр, третий ногу на километр выставил... Но раз уж девочку по профессорам возят – невольно присмотришься! Невольно скажешь соседу: “С таким же успехом и наш Копытман мог её мазать зелёной!”

В этих фокусах с профессорами всем виделись пробивающиеся остатки барских замашек. Вообще, надо сказать, в городе с самого начала ходили слухи о том, что Хаим-Шая неспроста забрёл в такое место, где нет у него ни знакомого, ни пятиюродного брата, где никто не может помешать ему скрывать свои тайны. Причём все были уверены, что ни жене его, ни детям ничего не известно о том, где он жил и кем был до революции. Кстати, как раз этой его неслыханной выдержкой в городе даже восхищались.

Сама-то Брайна – хоть знала бы что-то, хоть не знала бы ничего – секретов бы не разболтала: подруг у неё не было, а слушателю она надоедала, прежде чем успевала открыть рот. Зато сёстры её были вполне разговорчивые – и родные, и двоюродные. Именно их, сестёр, эти самые замашки Хаим-Шаи и раздражали в первую очередь. И каждую новость, даже самую мелкую, они спешили вынести во двор. “Как вам нравится? Девочка подшивала на платьице кусочек кружева, а он на неё набросился, оторвал это кружево и купил ей, ребёнку, настоящую магазинную рубашку, с вышитой вставочкой и с бретельками! Лучше бы он за эти деньги ей ещё одно платье купил!”

Кстати, сама Эшка очень гордилась тем, что ей купили настоящую рубашку. Она охотно показывала обновку подружкам, но примерить не давала. У неё тоже иногда проскакивали “барские замашки”. Но отказывала она мягко, обаятельно, с милой виноватой улыбкой. Никому и в голову не приходило обижаться, тем более что рубаху она собиралась надеть в первый раз, когда пойдёт на консультацию к киевскому профессору.

Провожать Эшку пришли десять подружек из старой школы, из еврейской, и десять из новой, украинской. Причём все они плакали, будто Эшка уезжает навсегда. Было уже и несколько парней, которые наперебой рвались помочь Хаим-Шае нести его жёлтый плетёный чемодан.

Арончик топтался в сторонке, наряженный в приличный, чуть тесноватый пиджачок. Наглаженная отцом рубашка, застёгнутая доверху, делала его шею ещё длиннее. Казалось, он случайно приболудился к шумному шествию. И замечали Арончика разве лишь для того, чтобы в недоумении пожать плечами: и зачем такого вот тащить в столицу, тратить на билеты и профессоров?

За Эшку же все были рады. Даже гордились по-своему этим её дефектом, как городской достопримечательностью. А, главное, считали, что, оказавшись в большом мире, Эшка создаст благоприятное мнение об их городе.

Всем интересно было, сделают ли Эшке новый корсет и как её будут лечить на этот раз. Ясно же, что не молотком и не зелёной!

Кстати, о зелёнке... Эшка и сама давно уже сомневалась в том, что зелёнка действительно была. Подозревала, что и ползущий по стене трамвай был её детской выдумкой.

И что же? Оказалось, трамвай действительно существует, действительно карабкается на гору. Но без всяких лапок, разумеется. И зелёнка не приснилась.

Профессор, на этот раз – высокая важная женщина, велела Эшке нагнуться и ватным тампончиком проставила зелёные точки на выступивших бугорках Эшкиного позвоночника. Эшка вздрагивала каждый раз, когда её спины касался холодный мокрый квачик. Затем Эшка выпрямилась, и стало видно, что позвоночник у неё действительно выгнут в левую сторону.

За всем этим наблюдали студенты, человек пятнадцать, и Эшке было так стыдно стоять перед ними без лифчика, что она не понимала, о чём идёт речь, и пришла в себя только тогда, когда ей велели надеть рубаху. Потом, в другой уже комнате, ей нацепили на голову кожаную штукловину, свисающую с огромной рамы, и подтянули кверху так, что Эшка едва касалась пола кончиками пальцев. И так она провисела почти час, пока старенький мастер собирал прямо на ней тяжеленную конструкцию из железок и винтиков.

Железо скрежетало и лязгало, когда Эшку заставили в нём походить. Профессорше очень понравилось, как выглядит пунцовая от стыда Эшка в своей красивой рубашке и железках, плотно оковывающих ладную её фигурку с тоненькой талией. “Разве не прелесть? – вопрошала профессорша. – Если бы ей тогда надели жёсткий корсет, она сейчас была бы стройненькая, как елочка!”. Студенты согласно кивали, а Эшка заплакала и сказала, что не станет ходить, как “кованый сундук”. “Но это же временно, пока ты окрепнешь, – уговаривали Эшку. – Потом ты сможешь обходиться без него!”. “Когда? – всхлипывала Эшка. – Когда стану старая?! Уж лучше я тогда его надену!” И было видно, что все студенты с нею согласны.

Потом Эшка спорила с отцом за столиком уличного кафе, прилегающего к большому парку. Плакала, но столичное мороженое – белый, розовый и кофейный шарики – ела с аппетитом.

Хаим-Шая находил её доводы вполне разумными. Порой даже цокал языком от восхищения: откуда в ребёнке такой здравый смысл? Хорошо. Пусть здравый смысл – от него. Но откуда такое красноречие, такой дар убеждения?!

Направление в протезную мастерскую и прочие выписанные профессоршей бумаги он не выбросил. Сложил благоговейно и спрятал с таким видом, будто в обретении их и состояла основная цель его поездки. В это семейное “достояние” внёс свою лепту и Арончик: две бумажки со штампами и рецепт. У Арончика психиатры действительно обнаружили какое-то неприятное заболевание.

Хаим-Шая, который давно говорил, что у мальчика не всё в порядке с головой, чувствовал себя победителем, бдительным дозорным, вовремя заметившим подбирающегося врага. Конечно, радостью от него не веяло, когда он шёл по весёлому, людному перрону киевского вокзала, закупаая мимоходом пряники, колбасу и газированную воду – но веяло уверенностью человека, который знает, что ему делать.

Жена – он, впрочем, и не ожидал от неё сочувствия – только пожала плечами и сказала, что таких кривых, как Эшка, полно, но никто, кроме него, Хаим-Шаи, не пялится своим детям в спину. А если считать сумасшедшим Арончика, то полгорода совершенно точно можно засадить в жёлтый дом. Бульон, приготовленный ею к приезду мужа, получился пересолённый, мутный и с тёмными хлопьями, а “мандалах” подгорели.

Город, о котором Брайна была такого нелестного мнения, замер в насторожённом ожидании, поскольку в каждом поступке Хаим-Шаи все привыкли отыскивать немислимо глубокий расчёт.

И тут началась война. Сразу всем стало ясно, зачем было Хаим-Шае делать из своего сына сумасшедшего. Ради белого билета. Конечно, Арончику было ещё далеко до призывного возраста, а о том, что война продлится четыре года, никто не мог и помыслить, но о таких тонкостях некогда было думать. Хватало своих неприятностей. Провожали в военкомат мужчин... Гадали, что хуже: тащиться с детьми неизвестно куда... или оставаться на месте, дома...

Хаим-Шая сразу объявил, что надо уезжать. Взять с собой только самое ценное. И не копаться.

У каждого своё представление о самом ценном. Хаим-Шая набил чемодан инструментами – так, что его нельзя было поднять. Нет, он тоже не предвидел, что война окажется такой долгой. “Кто я без инструмента?” – задавал он вопрос людям, пытавшимся его урезонить. “А кто ты будешь, если у тебя лопнут жилы в дороге или сломается поясница?” – наступала тётка. Без надежды, так, по упрямству. Лично для неё главной ценностью была цинковая балия для стирки, только что сделанная на заказ. С полувороночкой для слива воды. С петлёй, позволявшей подвешивать её и на крюк, и на гвоздь. Тётка так намучилась со старым корытом! Она была уверена, что балию утащат, стоит лишь выйти за ворота. А материнский буфет с резным виноградом и яблоками? А сплетённые своими руками лоскутные ковры?!

Тёща говорила, что любую напасть легче пережить в родных стенах. Оказалось, что втайне она продолжала считать этот дом своим, а вовсе не райисполкомовским. Помнила, что обложил его кирпичом и мечтал покрыть железом её покойный отец.

Хаим-Шая понимал ход мыслей тёщи, но доказывал ей, что надежды вернуть отцовский дом – полный вздор. “Вот твой дом! Вот твоя крепость!” – потряхивал он ножницами и бритвами перед носом сына, не испытывавшего никакой страсти к парикмахерскому инвентарю. Надо думать, такой вывод Хаим-Шая сделал из своего никому не ведомого прошлого.

Короче, уезжать Хаим-Шае было не так уж трудно. К этому месту, к этому гнезду, где он растил своих драгоценных птенцов, Хаим-Шая привязан не был. Не был он привязан и к тёще, которую, впрочем, очень долго уговаривал ехать. Подсылал к ней Эшку, подсылал беременную Фиру... Но и это не помогло. Старуха не только сама не поехала, но и старшую дочь свою, мать Фиры, ехать отговорила. И та, уже свернувшая в два клумака свои драгоценные пальто и валенки, стала их развязывать, не слушая доводов Хаим-Шаи.

Но уж Фиру оставить Хаим-Шая не позволил.

Выходя со двора, он остановился на минуту у ореха, который посадил когда-то, чтобы отпугивать мух и комаров, и похлопал дерево по крепкому, здоровому стволу... От ворот ещё раз оглянулся на него, серьёзно посмотрел, будто перепоручал ореху заботиться о тех, кого оставляет...

Из всего живого только орех он и застал, когда вернулся в этот двор.

К тому времени народ уже съезжался потихоньку в город. На окраине, возле еврейского кладбища, начали раскапывать огромные ямы. Там не было никого из людей, действительно близких Хаим-Шае. Тёща с дочерью... Тёщины сёстры... Их было, конечно, жаль – но не более, чем любого из восемнадцати тысяч, сваленных туда и зарытых, как попало, а теперь вот снова потревоженных, выставленных на позор перед людьми... перед ясным небом... и вовсе не для того, чтобы оказать им последнее уважение, уложить по-человечески.

Хаим-Шая сам не ходил к ямам и детям ходить запретил. Но к Эшке каждый вечер забегала школьная подруга, Тоня Горпинченко, и докладывала последние новости – что там и как.

Вообще-то равнодушный к многочисленным друзьям дочери, эту девушку Хаим-Шая недолюбливал. Она была действительно глуповата и уж, во всяком случае, начисто лишена деликатности, без которой просто нельзя было рассказывать о подобных вещах.

Эшка сердилась на отца и спорила. Она-то понимала, каково бедной Тоне рыть целый день землю, пропитанную кровью, топтаться в скользком месиве человеческих останков... Эшка и себе не хотела сознаться в том, что, слушая подругу, плачет не столько от горя, сколько от обиды: отвращение, брезгливость, страх перед трупом – всё было в этих рассказах, но не было ужаса, не было никакого сочувствия к погибшим людям, когда Тоня произносила слова “ваши...”, “ваших...”. Будто само собой разумелось, что не её это дело – жалеть *чужих*. Даже тогда, когда она прибежала к Эшке с известием о том, что откопали Маруню Шейнис, у неё был чуть ли не радостный голос: такая новость! Тоня опешила, когда Эшка в ответ начала кричать и биться в рыданиях.

Маруня! Любимая из любимых подруг! Первая красавица города! Ясное солнышко – Маруня! Да ведь она за полгода до войны уехала в Москву к мужу своему, к лётчику! “Не может быть! – надрывалась Эшка. – Выстрелить в Маруню! Это ж даже никакой фашист не сумеет! Может, ты перепутала? Неужели видно через столько лет, что это действительно она?!” – “Видно! Как вот тебя вижу! – доказывала Тоня, как бы обводя Эшкин силуэт рукой. – И люди видели, все, кто там был... Она в такое какое-то место попала, что совсем не испортилась! Все аж закричали! Я теперь сколько жить буду – мясо кушать не смогу! Уже пятнадцать тысяч насчитали! Мало нам местных было – так они сюда с Чехословакии, с

Венгрии нагнали! Кажется, и в баню хожу после работы, и одежду меняю, а запах всё равно не проходит!” – и она брезгливо обнюхала кончики своих пальцев. Плечи. Волосы.

Хаим-Шая попросил Эшку по возможности не водить подругу в дом. Особых объяснений искать не требовалось. Стёкол в окнах не было. Над углом комнаты не хватало куска крыши, штукатурка осыпалась, небольшую верандочку и ведущую к ней лесенку кто-то разобрал – очевидно, на дрова. Так что обнажившаяся дверь как бы зависла среди стены на неприступной высоте. Но это всё-таки была большая удача – по сравнению с соседними домами.

В день своего возвращения, опустив на землю чемодан, Хаим-Шая спокойно оценил обстановку и отправился по окрестным дворам. Прежде всего он сложил из разного мусора горку, по которой можно было забираться в квартиру без особого риска для жизни. Затем принялся обследовать комнаты.

Как и предполагала покойная тёща, её новую балию утащили. Равно как и бабушкин буфет. И всю прочую посверленную шашелем мебель.

Разумеется, Хаим-Шае и в голову не пришло организовывать розыски громоздкого тёщиного скарба. Созидающим взором окидывал он освободившееся пространство. Даже разобранный по кирпичику печь не выводила его из равновесия: ему казалось совершенно естественным, что в доме ювелира кто-то искал замурованное золото. Он был даже как-то по-своему польщён.

Впрочем, тут как раз его ожидало разочарование: выяснилось, что золото искали во всех еврейских домах. Даже в вонючей хибаре Школьников, которая не проветрилась за три года.

Нуська Школьник, приехавший в отпуск на четыре дня, все четыре дня проплакал. Он с детства был плаксив, и Лёвке так и не удалось выбить из него этот порок. Стоило кому-то косо взглянуть на маленького Нуську, а тем более посмотреть ласково, сочувственно – и большие глаза его тут же становились огромными от слёз. А ведь на сей раз для слёз были все основания. Нуська любил своих недотёп-родителей, которые надеялись при немцах отсидеться в погребке, как отсиделись при петлюровцах. И нищий свой дом Нуська любил. И ничуть не льстило ему то, что соседи-швейцарцы разобрали его печь. Даже собственный триумф ничуть не утешал.

Нуська ходил по городу – лёгкий, высокий, плечистый. В парадной форме капитана-танкиста. С немыслимо красивой смоляной шевелюрой, будто вылепленной дерзновенными руками: круто вверх маленькая тугая волна, снова вверх и чуть назад, и снова волна, и снова... Короче, бедным его родителям и не снилось, что надоедливая чёрная щетинка, которую они сбрасывали из гигиенических соображений, может подняться таким великолепным каскадом. И некоторая женственность Нуськиного лица в сочетании с военной формой, с общей его возмужалостью, с тем, что через пару дней он возвращается на фронт, только добавляла Нуське романтической привлекательности. Пахло от него нарядно: папиросами, новым ремнём, одеколоном.

Каждый день с утра он отправлялся к ямам. Стоял поодаль, боясь наступить на землю, уже начинающую обрастать новой травой. Эту траву спокойно пощипывали чьи-то серые козы.

Нуське хотелось перед отъездом что-то сделать для родителей. Но он не знал, что... Кто-то посоветовал ему обратиться к Хаим-Шае: других стариков в городе пока не было. Заодно Нуське рассказали, что Фира с маленьким сыном живёт у дяди. Что муж её погиб где-то под Ленинградом. Что Брайна как была малахольная – так и осталась. Что Эшка стала ещё лучше, чем была, а вот Арончик – то ли действительно был с детства слегка тронутым, то ли до того допритворялся, что рехнулся взаправду.

Нуська, хоть и капитан, хоть и раненный дважды, ступая во двор Хаим-Шаи, трусил. Хаим-Шая сидел на кирпичках под орехом и чинил примус – весть о возвращении главного городского ювелира молниеносно дошла и до дальних сёл. Тут же рядом с дядей Фира ощипывала синюшного цыплёнка. Хорошенький малыш катал по двору сшитый из тряпки мячик.

– Мне завтра возвращаться на фронт... – неуверенно начал Нуська, – а я не могу уехать просто так... Может, вы подскажете...

Фира смотрела на Нуську очень хорошо, сочувственно, как старая знакомая. Малыш разглядывал его, закинув головку и восхищённо раскрыв рот.

Хаим-Шая, выслушав Нуську, собрал свои закопчённые железки и поднялся:

– Пойдём прямо сейчас. На закате туда ходить нельзя. Я зайду только, переоденусь...

Отсутствовал он минут десять-пятнадцать. Всё это время Нуська разговаривал с Фирой. Говорил он спокойно, с достоинством... Фира уже не казалась ему такой красивой, как прежде, но Нуське ещё больше захотелось получать от неё письма. С фотокарточками. Он так и сказал Фире: остался, мол, один на всём свете. Родителей расстреляли, брат пропал без вести... Вот адрес полевой почты на случай, если Фира вдруг почувствует себя одинокой и захочет с кем-то поделиться своими невзгодами и радостями...

Тут явился Хаим-Шая в своём выходном костюме и, не оглядываясь на Нуську, направился в сторону кладбища.

Наверное, сюртук Хаим-Шаи был последним сюртуком, который оставался в городе. Но ещё больше людей поразила его ермолка. На двадцать седьмом году советской власти человек разворачивает “Известия” и достаёт оттуда чёрную шапочку и рыхлую кожаную книгу. Причём, надо понимать, что возил он их за собой и в эвакуацию.

Нуське, советскому офицеру и члену партии, было не по себе. Над ямами, в которых лежали тысячи людей, убитых только за то, что они евреи, стоял старик, раскачиваясь и громко бубня слова на непонятном языке – будто это самое обычное дело, будто так и надо. Нуське хотелось, чтобы непонятные слова эти поскорее иссякли, чтобы поскорее догорела на земле одинокая свечечка. А с другой стороны – наоборот, хотелось, чтобы всё это длилось и длилось. Он, наконец, почувствовал себя, как человек, который сумел исполнить чью-то давнюю просьбу.

За себя Нуська не боялся: всё равно завтра возвращаться в часть. Но за старика немного беспокоился. Как бы тот не пострадал по его вине...

Никто не знал, насколько правильно Хаим-Шая соблюдает ритуал. Но с того дня сложилась традиция: когда в город возвращался кто-нибудь из уцелевших, посылали за Хаим-Шаем. Он бросал свои дела и шел без колебаний, будто это его новая обязанность. Молился, ставил свечку. Кто-то предположил даже, что на самом деле Хаим-Шая был раввином и лишь для отвода глаз придумал сделаться ювелиром. Действительно, разве ювелирское это дело – с примусами возиться? Впрочем, и не раввинское...

В самом конце войны пришлось-таки Хаим-Шаю поработать и по основной своей специальности. Жёны городского начальства стали обращаться к нему с мелкими заказами: то застёжку на трофейном браслете починить, то колечко растянуть, то на медальончике затереть трогательную немецкую надпись... Длился золотой век недолго, но многие полагали, что именно за это Хаим-Шаю прощают его религиозные мракобесия. Скорее всего, городскому начальству просто не было дела до еврейских ям. Предстояло очистить от развалин центр города. Что возможно – восстановить. Расселить людей. Кое-как это удавалось. Тысячи горожан вечным жильём обеспечил Гитлер. Кто-то умер в эвакуации, кто-то прижился в Средней Азии или в Сибири.

С фронта пришли немногие. Из двадцати шести мальчиков, с которыми Эшка заканчивала украинскую школу, вернулся только Федя Глузман. На костылях, с ногой, отрезанной по самый пах... А одноклассники по еврейской школе погибли все, как один.

Чужих эти места поначалу не очень-то привлекали. Восстанавливать город пришлось старикам и женщинам. Замуж выходить было не за кого. Тот же одноногий Федя стал на вес золота, никак не мог решить, кому отдать предпочтение. Мане Сапожниковой, Ляле Горн, Тане Нудельман, Циле Нудельман, Поле Нудельман – или вообще Кате Кравченко, медсестричке из госпиталя.

Хаим-Шая, который никогда не роптал на жизнь и спокойно приноравливался к любому её повороту, на сей раз почти растерялся. Вдруг появился невиданный шанс хорошо пристроить сына со всеми его странностями. Конечно, Арончик не был конкурентом ни Феде, ни Гедалье Шерману, обгоревшему в танке. Но Хаим-Шая понимал, что уже сейчас, а тем более через год-два, когда радужные ожидания девушек окончательно улягутся, Арончик сможет выбирать. Точнее, Хаим-Шая сможет выбирать для Арончика. И тут важно не ошибиться, не ухватить по глупости что-нибудь слишком яркое, слишком дорогое... Ибо женщина, готовая с отчаяния выскочить за кого попало, со временем остынет, оглядится и выместит своё разочарование на нём же, на Арончике.

Нет, нет и нет! Хаим-Шая не собирался пользоваться моментом. Он не считал, что удачная жена – это та, которая красивее, умнее и богаче мужа. “Хороший изумруд не ставят в простенькое серебро”, – отвечал он соседям, которые издали заводили с ним речь о своих красавицах-дочерях или племянницах. А когда те, подхватывая его профессиональное красноречие, спрашивали, как же быть с “изумрудом”, если нет для него подходящей оправы, Хаим-Шая, увы, не знал, что ответить. Но окружающие видели в его молчании эгоизм, нежелание делиться с другими своей секретной стратегией. Никто не сомневался, что для Эшки, для своего “изумруда”, он строит сложные планы – и, разумеется, как всегда, не прогадает.

Так вот, по поводу Эшки он пребывал в ещё большей растерянности. Четыре года, которые, по его раскладу, отводились Эшке на учёбу в институте, сожрала война. В узбекском городке, куда они эвакуировались, институтов не было. Правда, Эшка устроилась в престижную московскую организацию, сначала машинисткой, а позднее – секретарём-делопроизводителем. На работе её очень хвалили. Но это нисколько не льстило Хаим-Шае, уверенному, что из его девочки должен получиться второй Плевако.

Вообще-то юриспруденцию он считал делом не женским. Но и ум у Эшки был не женский...

Хаим-Шая не мог смириться с тем, что такая драгоценность останется без огранки. С другой стороны, его пугало ещё больше то, что Эшка, проучившись пять лет, может остаться старой девой. Или того хуже: оказавшись без родительского надзора, выскочит за кого попало, за барахло, которое и цены-то ей не будет знать.

По правде говоря, для своего изумруда в ближайшем окружении он не видел даже серебра. Так... мусор всякий... Олово, железки...

Один такой уже приходил к Хаим-Шае. Девочек дома не было, ни Эшки, ни Фиры. Хаим-Шая не понял даже, которую из них жених собирался смотреть. Выглядело так, будто интересуется его исключительно квартира.

Крышу к тому времени починили. Длинную неуклюжую комнату разделили надвое, устроив маленький коридорчик посередине. В этом закутке зимой можно было готовить еду, а в случае надобности даже поставить лишнюю кровать.

Хаим-Шая как раз отстраивал верандочку. И лестница была уже готова. Удобная, надёжная... А этот ходил по квартире с кислой миной, будто ему чего-то наобещали – и обманули. Чуть ли под кровати не заглядывал. Топал туда-сюда, скрипел сапожищами, медалями своими звенел. “Это что у вас?” – “Это для холода, вроде погреба. Чтоб еда не скисала” – “А где у вас уборная?” Хаим-Шая думал: понадобится человеку. А он: ”Так

далеко?! Не-ет! Бегать зимой в такую даль! А у меня ранение лёгкого! Мне это не подходит!”. Будто Хаим-Шая его уговаривал, а не ходил за ним без слов, без выражения лица!

Даже Брайна проснулась, вышла из себя. ”Он, наверное, думает, что с таким лёгким приятно спать в одной кровати! Слушать, как оно свистит! С ним же даже в одной комнате нельзя спать! И ещё дырка на щеке!”. Но это, разумеется, уже потом, когда “жених” ушёл. При нём-то Брайна была обходительна. Насколько умела. Всё-таки война ещё не кончилась, и такой вот, списанный, был куда надёжнее Нуськи, от которого Фира каждые три-четыре дня получала фронтовые треугольнички.

Нуськины послания Фира никому не показывала, но было ясно, что она влюбляется всё сильнее. Бросалась почтальону навстречу, выхватывала письмо из рук и тут же на месте вскрывала. Читала – будто залпом пила холодную воду в жаркий день.

Хаим-Шая качал головой. И вовсе не потому, что не жаждал породниться со швейцарцами. Жизненный опыт подсказывал ему, что Нуська, которому так везло с самого начала войны, может погибнуть в самом её конце, и для бедной Фире это будет уж слишком.

Опасения Хаим-Шаи были вполне обоснованные, однако на Нуську с Лёвкой общие правила не распространялись. Видно, Бог имел на них какие-то генетические планы. Или Малка, их мать, заслужила за тридцать лет своих бессмысленных беременностей право отстоять хоть этих двоих. Может быть, расстрелянная на второй месяц войны, металась Малка между сыновьями, от корабля к танку – и обратно... Во всяком случае, везло им неправдоподобно. Что бы вокруг ни творилось – их только оцарапает слегка! А если и ранит – то удачно. Не изувечит, не изуродует... В Лёвкин корабль бомба попала. Ночью. А он выплыл! Пять часов продержался на плаву. И вдобавок даже не простудился.

Короче, пережили Лёвка с Нуськой войну, так же, как и голод, и скарлатину, и тиф. Появились в городе внезапно – и не пришибленные, не остриженные налысо, не в застиранных обносках...

Всё-таки какое значение имеет причёска! Волосы у Лёвки хоть и не вились, но лежали потрясающе красиво! Густые, жёсткие, блестящие, зачёсанные назад, они с романтическим размахом съезжали с высоты чуть вперёд и налево, как бы набекрень. И этот “кок” так волнующе усиливал проникновенность Лёвкиного взгляда!

Поди предугадай, из чего что получится! Эти глаза, запавшие в череп, голодные, виноватые, с гнилым блеском нищеты – превратились в глаза добродушного завоевателя, повидавшего мир, повидавшего женщин. Знающего цену себе и своей морской форме, чёрно-белой с золотыми блёстками и двумя рядами орден.

Лощёный Лёвка ходил по остаткам знакомых улиц, поросшим кустами и травой. В центре уже начинали что-то строить, и Лёвка с ревнивой грустью, с мужественной слезой отмечал перемены, перерождение города, который не так уж и добр был к нему в детстве.

В сущности, он приехал проститься. Ну, может, ещё блеснуть напоследок перед теми, кто помнил его прежнего. Главным же образом – для того, чтобы расстроить планы своего недотёпы-брата, надумавшего жениться на вдове, не ахти какой красивой, на два года старше Нуськи, без кола, без двора и с ребёнком в придачу.

Сентиментальный Нуська, хотя и сознавал произошедшую с ним метаморфозу, всё-таки не представлял себе ничего лучшего, чем брак с Фирой, племянницей того самого ювелира Хаим-Шаи, которого мальчишками они обходили, благоговей от страха. В Лёвке же как раз это родство возбуждало дополнительную, бодливую враждебность. Не терпелось войти в ювелирские хоромы и учинить там пусть и негромкий, но жёсткий скандал. Вонючее швейцарское детство так и подталкивало его смело распахнуть дверь, нагло сесть, развязно заговорить... Вроде и не было никогда такого, чтобы сам Хаим-Шая или его Эшка взглянули на Лёвку с презрением или брезгливостью. Но ведь это исключительно оттого, что никогда они на него и не смотрели...

Выше всяких похвал выбритый, наутюженный и надушенный, подходил Лёвка к дому ювелира, умышленно растравляя в себе давние обиды, которые в детстве и за обиды-то не посчитал. Несомненно, Лёвка был человек добродушный – а тут вдруг нехорошо порадовался, увидев жалкий домишко знаменитого богача, с окнами, заложёнными фанерой, с осыпавшейся штукатуркой...

Но за воротами, с обратной стороны дома, всё выглядело иначе. Застёкленные окошки были вымыты и натёрты до хрустального блеска. Нетронутый орех простирал над двором жилистые заботливые ветви и непрерывно шелестел, как-то очень спокойно и умиротворяюще. Ноги цепляла крепкая курчавая трава. Пахло летом, полевыми цветами, только что достроенной сосновой верандой. Соседи Хаим-Шаи бросили все дела, пошли смотреть на “капитана”. Решили, что пришел он звать старика на кладбище.

Хаим-Шая был, как всегда, занят, копался в своих железках, но, увидев Лёвку, тут же поднялся и спокойно выразил готовность следовать за ним. Лёвка деликатно, но твёрдо остановил его встречным движением ладони.

– Я пришел к вам поговорить о брате, – начал Лёвка. – Я знаю, что вы – человек порядочный. Вы не захотите пользоваться тем, что молодой парень влюбился по почте в вашу племянницу.

Лёвка не чувствовал ни удивления, ни сопротивления со стороны Хаим-Шаи. И слова его уходили как бы в никуда, обращались в неслышимый, невидимый пар, едва отделившись от Лёвкиных губ. Солнечный воскресный день как бы отказывался включать их в свой круговорот...

Но Лёвка не сдавался, Лёвка нажимал. Сравнивал послевоенные достоинства Нуськи и Фирины недостатки. С тайной угрозой в интонациях сообщал, что не собирается устраивать скандал, что надеется на Фирино благоразумие, на её хорошее отношение к Нуське.

– Вот это и будет проверка: желает она ему добра – или хочет ему покалечить жизнь! Пусть покажет, любит она его или нет! – говорил Лёвка, с неудовольствием отмечая, что отсутствие Фиры его всё-таки радует.

В короткие паузы между красивыми и длинными Лёвкиными фразами Хаим-Шая умудрился втиснуть, как бы между прочим и без всякого выражения, собственную информацию: что у Фиры сейчас дежурство в больнице, что горсовет вернул Фире комнату её матери – “вон те три угловых окна”, что главный Фирин недостаток плещется “вон там, в деревянном ушатё”.

Ушат стоял на солнышке, в дальнем углу двора, куда ещё только подбиралась тень богатой кроны ореха. Вокруг ушата было набрызгано небольшое болотце, и в нём увязали раскисшие бумажные кораблики. О белобрысую головку, о мокрое детское тельце хотелось тереться лицом... Две девушки вышивали, сидя на пеньках срубленного многоствольного дерева. Одна из них, высокая, худенькая, с глуповатым мелким перманентом (Лёвка откуда-то помнил, что зовут её Тоня), прикрывая лицо пальцами, хихикала и завистливо поглядывала то на Лёвку, то на подружку. Будто Лёвка пришел свататься к Эшке, а не разбираться, в каком году родилась Фира и куда делся её отец.

Эшка работу не прерывала и тоже смотрела на Лёвку. Без всякого жеманства, без игривого любопытства. В огромных её глазах стояла ровная, как солнечный день раннего лета, ласка. Но ласка эта явно предназначалась не лично Лёвке, а каждой частичке мира поровну. Точно так же смотрела Эшка на снесённую с мусорника бумагу, на траву, на упавшее с дерева пёрышко, на сломанный соседский велосипед. Она будто видела историю вещи от самого её рождения – со всеми превращениями, передвижениями... Было в Эшкином взгляде лёгкое превосходство взрослого, глядящего на ребёнка. А если ещё точнее – Эшка казалась зрителем, который смотрит фильм второй раз, но не говорит другим, чем он закончится, чтобы не портить им удовольствие.

Нет, не то чтобы Лёвка понимал все эти тонкости умом... Но что-то он чувствовал, что-то так и тянуло его посмотреть Эшке в глаза, проследить за странными движениями её ручек. Они выражали Эшкины чувства куда свободнее, чем лицо. Не отрываясь от своего дела, то

замедляли движения, то вовсе замирали, причём как-то совсем по-разному. Одна напрягалась, враждебно отворачивалась, как бы обиженная за Фиру, а вторая прислушивалась внимательно к Лёвкиным словам, сочувствуя и одобряя его беспокойство за брата. Казалось, эти две маленькие руки всё время что-то обсуждают между собой, беззлобно спорят, увещевают друг друга...

Впервые Лёвка видел Эшку так близко. Он не мог понять, почему раньше она казалась ему такой красивой. Нет, она не стала с возрастом хуже. Но за годы эти Лёвка столько перевидал красивых женщин! Так избалован был их скоропалительной любовью, не требующей никаких гарантий!

Лёвка вовсе не был подлецом. Брал лишь то, что ему добровольно предлагали. Но это знание, это отсутствие волнения и таинственных преград особым образом отпечаталось в каждой его черте и ужимке. Всегда казалось, что Лёвка как бы заглядывает глубоко в глаза женщины, туда, куда нет доступа чужим. Это был неотразимый взгляд из ласковой тени, из-под густых бровей, из-под волны чёрных волос. И в длинных губах его, когда-то заискивающе голодных, теперь играли, перемежаясь, перетекая друг в друга, ирония, поощряющее добродушие, благодарное воспоминание, готовность сообщника... Даже в подбородке, даже в крепких зубах, азартно закусывающих папиросу, читалась особая свобода, подаренная войной и пережитым риском. Ну кем бы он сейчас был, Лёвка, не случись с ним и со всем миром эта катастрофа, эта немыслимая война, крушащая души, как кости? Кем бы сейчас стоял он перед Хаим-Шаей, богачом, пропахшим медью и керосином? Стоял бы в штанах, висящих на заду, и боялся бы сказать, зачем пришел.

Наверное, потому он и не сдавался, доказывал своё, напирал, тихо кипятился... Хотя никто с ним и не спорил. Повторяя так и эдак одно и то же, он в конце концов сам перестал понимать, что такого уж страшного случится с Нуськой, если он женится на Фире. И зачем, собственно, Нуське непорочная девственница. И разве сам Лёвка не забрал бы себе, не вырастил беленького пацанчика, мокнущего в ушате, если бы в этом была нужда? Куражась перед Хаим-Шаей, Лёвка лишь два желания осознавал в себе чётко: посмотреть Эшкину вышивку, поскольку с изнанки ничего нельзя было разобрать – и прийти снова. Так он и сказал Хаим-Шае: “Мы ещё не кончили! Мы ещё продолжим этот разговор!”

На обратном пути Лёвка присматривался к фигурам всех проходящих мимо женщин, неизвестно зачем сравнивая их с Эшкой и с удивлением отмечая, что спины у них у всех тоже не ахти какие ровные... А при том ни у одной из них не было в фигурке такой своеобразной мягкой приятности.

Лёвка вдруг обнаружил, что очень хорошо помнит Эшкину талию – не такую уж тонкую, но с глубокими, плавными изгибами, на которые так и просилась лечь ладонь. Он вдруг представил себе, как парням на танцах не хочется убирать с этой талии руку, когда кончается музыка. “Небось, ещё и прижимают к себе” – подумал он с внезапным и необъяснимым гневом. Вроде бы вся она была несколько не в Лёвкином вкусе: и ножки не слишком длинные, и бюст великоват... А вот ведь...

В тот же вечер он попал на именины к своей однокласснице, Циле Дубинской, и Циля весьма выразительно предложила ему остаться на ночь. Идти домой было действительно далеко, через мост, а Циля была такая нарядная, смелая... Но Лёвка вдруг смутился, сделал вид, что ничего не понял – и потопал в темноте через весь город.

Расколыхавшийся за день от осмысления неброских Эшкиных прелестей, Лёвка сам себе удивлялся. Он был рад, что всё же не успел наговорить Хаим-Шае особых гадостей. Причём теперь, задним числом, ему казалось, что именно Эшка остановила его... Этими своими огромными глазами. Вроде бы они не предостерегали его, тем более не укоряли... Они просто знали, как всё будет.

Лёвка остановился на мосту и замер. Вдруг почудилось, что он слышит далеко внизу плеск невидимой реки. Где-то впереди, в тёмных дебрях садов, рычали и лаяли собаки.

Ещё два раза ходил он объясняться с Хаим-Шаем, но всем уже ясно было, что это всего лишь предлог.

Он узнал, что вышивает Эшка: “Трёх богатырей”, перебитых из журнала “Огонёк”. Эшку не удовлетворял ядовито-розовый цвет лица богатырей. Ниток нужного оттенка в продаже не было, и Лёвка пообещал достать. Цилин дядя работал на галантерейной фабрике. Мулине нужного цвета и там не оказалось, зато Лёвке ни с того ни с сего предложили должность начальника цеха. С приличной зарплатой и туманными видами на жилплощадь. Обученный на войне братья за любое, даже самое неожиданное дело, Лёвка – не экономист, не технолог и не химик – согласился возглавить производство пластмассовых изделий.

В тот же вечер Лёвка спросил у Эшки, ходит ли она на танцы. Эшка ответила, что обожает танцевать, но отец её считает неприличным для незамужней девушки ходить на танцплощадку.

– В чём же дело? – сказал Лёвка и прожёл её искоса коричневым глазом. – Пойдём в загс распишемся, а оттуда – в “Парк культуры”!

Вот тут-то и покорила его Эшка окончательно! Не стала поднимать шум, делать вид, что не ожидала, что смущена... Так... только повела слегка головкой...

И вот от этого движения головки, от чуть неровной Эшкиной улыбки, а также от новой её причёски Лёвка до того завёлся, что еле пережил неделю своего законного жениховства.

Подоспевшего с Дальнего Востока Нуську он отговаривал от брака с Фирой, но вяло. Как он сам себе говорил: “ради чистой совести перед покойными родителями”. На самом деле Лёвка даже боялся, что Нуська вдруг прислушается к его доводам, и это вызовет новые осложнения.

Нуська же ничего такого не почувствовал и понапрасну обрушил на Лёвку весь свой гнев, накопленный за две недели пути. Заодно он приплёл туда же все набравшиеся с детства претензии.

Хаим-Шая Лис, который после первого же Лёвкиного визита заказал Эшке пару летних и пару зимних платьев, внешне никак не проявлял своего отношения к замужеству дочери, как будто его дело – исключительно организация свадьбы и быта новобрачных.

Приглашать было в сущности некого: из друзей и родственников никто не остался в живых. Но народу собралось немало. С этой Эшка когда-то пела в хоре, это – тётя любимой подруги, этот – племянник мужа покойной бабушкиной сестры... Естественно, пригласили всех соседей. Стол накрыли во дворе под орехом. Сколотили козлы, сняли с петель все двери. Метров десять получилось. Вдобавок у кого-то нашлась почти новая камчатая скатерть – на всю длину!

В общем, не стыдно было перед людьми. Недаром Хаим-Шаю четыре года ждали примусы, ждали швейные машинки пригорода и окрестных сёл. Недаром сделал он жене начальника военторга два обручальных кольца из крышки от золотых часов. Недаром починил он Лейбовичу трофейный саксофон – хотя Лейбович за хороший ужин и так играл бы всю ночь.

Вообще надо сказать, что гуляли после войны широко. Казалось бы: люди разорены, в домах пусто, зарплата жалкая, карточки не отоварить! А стол накроют – диву дашься! Одолжат денег, посуду соберут у соседей. Всем известно, у кого сколько рюмок, сколько вилок. Три серебряных у Фиры, пять алюминиевых у Мани. Плюс свои...

До войны, бывало, зафаршируют рыбу, зажарят жаркое – вот и вся свадьба. А тут каждые полгода какие-то новые блюда прибавляются. Салат из мозгов. Салат из капусты. Из плавленых сырков. И не дай бог отстать от кого-то! Праздновали Новый год, Первое мая, годовщину революции. А на самом деле – окончание войны, собственное счастливое избавление. Пили не сильно, но танцевали и пели до экстаза, до полного изнеможения. Живы, живы остались! Ах, да, тут ещё и жених с невестой! Что ж, пусть и они будут счастливы!

Пара и в самом деле получилась славная. Особенно трогала Эшка. Она сидела, потупясь, и скромно улыбалась. Почти весь вечер Лёвка видел её висок и щеку. Он развлекался, наблюдая за Эшкиными руками. Уж они-то себя ничем не сковывали: стеснялись, восхищались, удивлялись...

Платьице на Эшке было из розового крепдешина в мелкий цветочек, милое и незамысловатое. Лёвке оно очень нравилось, хотя, честно говоря, он ожидал, что Хаим-Шая Лис справит дочери свадебный наряд побогаче.

Тоненькое обручальное колечко, которое Эшка так уважительно крутила на своём пальчике, купил Лёвка. И позолоченные серёжки с жёлтыми камешками – тоже он. Истратил почти весь свой аванс. Но как чудесно Эшка покраснела, когда развернула бумагу... раскрыла бархатную коробочку... Лёвка и раньше знал, что Хаим-Шая детей своих не балует, но чтоб настолько! Эшка, как ребёнок, щёлкала коробочкой, а в Лёвкиной просторной груди при этом поднималась, наряду с нежностью, гордая готовность удивлять и баловать Эшку всю жизнь.

Слегка подвыпивший к середине свадьбы, он поднял рюмку и произнёс длинную речь, обращённую главным образом к тестю, и не без тайного укора обрисовал свои планы относительно Эшки. Как она у него ни дня не будет работать – разве что вышивать на пяльцах, для удовольствия. Как он повезет её для начала в свадебное путешествие, а впоследствии станет возить регулярно на курорты Крыма и Кавказа. И как для этих поездок он накупит Эшке шёлковых платьев, а главное – чернобурку.

Морская форма Лёвке очень шла и придавала особую убедительность его проникновенным словам. А когда, исчерпав своё красноречие, он опрокинул в рот рюмку, что-то застучало легонько по листве ореха, будто тихо заплодировало. Мелкий, но дружный дождик... Никто не засуетился, не побежал прятаться. Наоборот, все будто замерли и стали слушать. Не было никаких сомнений в том, что этот дождь к добру. Будто какие-то тайные силы решили сообщить о своём присутствии, о своём участии в жизни. И так хорошо каждому думалось в эти минуты о долгих, спокойных годах, наполненных тихими радостями и малыми делами! Казалось, это звучит незатейливая песенка о таинстве встречи, зачатия, рождения, о единстве временного и вечного.

Даже Хаим-Шая расчувствовался – так расчувствовался, что стал рассказывать, как посадил когда-то среди двора орех, как он рос, этот орех, и как росли под ним дети Хаим-Шаи. Как когда-то в тени этого ореха едва умещалась детская люлька. И вот теперь под ним умещается целый свадебный стол, и ни одна капля не проникает сквозь крону, а он отдаёт Лёвке свой самый дорогой бриллиант... Кажется, за всё время, что Хаим-Шая прожил в этом городе, он столько не сказал.

Намешал “Московскую” с кагором и вишнёвой наливкой... Все ждали: вот сейчас проболтается, раскроет какой-нибудь свой секрет! Где там...

Лёвка, за месяц вполне прижившийся в доме тестя, пришёл к выводу, что никаких тайн у Хаим-Шаи нет. Просто старик не видит надобности лишний раз открывать рот.

Удивительно, но и Эшка оказалась отчасти такой же. Вот вроде бы и болтушка, и без хитрости... В первый же вечер всю свою жизнь, всю свою биографию с двух лет рассказать ему успела. А тут стали собираться в свадебное путешествие. “Куда едем?” – “Конечно, в Одессу, к дяде Лазарю!” – “Ты не говорила, что у тебя есть родственники в Одессе!” – “А ты же не спрашивал про родственников...”

Разве не странно? Неужели Лёвка должен был спросить: “Слушай, Эшка, у тебя нет случайно дяди в Одессе?” Хотя, с другой стороны... Он вдруг вспомнил, что и у него где-то в Молдавии должен быть дядя. Если уцелел, конечно. Ну и что с того? Правда, о дяде своём Лёвка знал исключительно понаслышке, а Эшка, как выяснилось, у своего гостила несколько раз – и ни одна живая душа в городе понятия об этом не имела.

Приехали они без телеграммы. Эшка знала дорогу от вокзала, привела прямо к дому, к нужной двери, будто каждое воскресенье туда ходила.

Дверь была приоткрыта: тяжелый пар абрикосового варенья не умещался в квартире. Эшка как-то хитро просунула руку, отстегнула цепочку и впустила Лёвку в огромный, как зал, коридор.

Лёвка остановился, не решаясь опустить на узорный паркет чемодан и коробку с орехами. Его прямо-таки ошеломила богатая, пыльная лепнина и невиданные просторы помещения, которое не смогли сделать тесным стоящие во множестве ящики, корыта, сани, выварки и раскладушки.

Эшка на цыпочках прошла в самый конец коридора и постучалась в дверь.

– Войдите! – донёлся из комнаты важный баритон.

Широкая, как кадушка, старуха пересекла коридор и присоединила к баритону свой хриплый писк.

– Эшка! Эшкеле! Золотая моя! Что же ты не дала знать?! Мы бы вас встречали с розами! На такси!

– Я не хотела вас беспокоить. Мы и сами прекрасно добрались.

– А если бы мы ушли на базар?! На море?!

– Мы бы подождали.

– Ты смотри, Лазарь, – кудахтала старуха, – как она похорошела! Правда?

Наконец, очередь дошла до Лёвки. Старик раскинул руки и повел Лёвку в комнату, поближе к свету, повторяя: “Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, кого же ты выбрала...”

Старик изучал Лёвку, сощурился глазом и водил головой сверху вниз и со стороны в сторону. Несомненно, дядя в целом одобрил Эшкин выбор, хотя Лёвке и показалось, что старик определил мгновенно все его слабые места, нюхом учуял швейцарское происхождение, сосчитал армейские романы и мелкие интрижки.

Комната у стариков была высокая, с цветами и ангелами на потолке, но в сравнении с ней даже “хоромы” Хаим-Шаи представлялись просторными. Громоздкие вещи жались друг к другу, как беженцы в купе поезда.

Но стол накрыли богато. Постелили скатерть, вышитую гладью. Рюмки поставили хрустальные, причём – все одинаковые.

– Вот хорошо! А у меня как раз такая скумбрия, что вы такой в жизни не ели! – суежилась старуха.

Между тем руки её действовали отдельно от слов, чётко, размеренно. Старик следил за их движениями, как бы утверждая взглядом каждый взмах ножа, наклон кастрюли, топот варёной картошки, выпадающей в глубокую фарфоровую миску с портретом усатого военного в виньетке. Такой вкусной картошки Лёвка никогда не ел. Не ел таких больших сладких помидоров и таких звонких огурцов. И даже лука такого: с широкими сплюснутыми головками и ровно подстриженными твердыми перьями. Была ещё баклажанная икра – и тоже какая-то совершенно особая.

Вообще-то Лёвка давно уже отъелся. На флоте кормили хорошо. После отчего дома казённый харч казался санаторно-курортным питанием. Так что, попав в сытый дом тестя, с которым за починенный примус рассчитывались банкой сметаны или мёда, он ел степенно, без жадности. А тут – будто напало что-то! Оторваться не мог. Чем, кстати, очень расположил к себе хозяев. Особенно старуху. Она прямо расцвела: “Это у нас в Одессе земля такая, что всё вкусное! Особенно, когда ты знаешь, у кого что лучше покупать!” Старик помалкивал, но с таким видом, будто главный секрет этого явления известен только ему лично. Своей “секретностью” он напоминал брата. В остальном же был полной ему противоположностью: толстый, щекастый, с пышными седыми усами. Лёвка находил дядю гораздо симпатичнее тестя, а главное – проще.

Пили они почти до обеда. Потихоньку, не пьянея. Только у Лёвки глаза становились всё глубже, всё мечтательнее. Старуха, макая в водку кусочки городской булки, качала головой и всё откровеннее восхищалась Лёвкиной красотой. Старик же, с утра сидевший очень прямо, стал откидываться на спинку стула. И длилась идиллия до тех пор, пока он не протянул свою лапу к Эшкиному уху.

– Эшке! Что это у тебя?!

В первую секунду не разобравшийся в интонации Лёвка почувствовал было прилив гордости, но тут же заметил, что лицо дядькино морщится и кривеет, как от кислого.

– Боже мой! Боже мой! – выкрикивал старик, ловко отстёгивая и вынимая из Эшкиных мочек Лёвкин подарок. – Дочь Хаим-Шаи! Носит! Такие серёжки! Фу! Деточка! Такие серёжки солдат дарит кухарке!

И он брезгливым движением, будто попавшегося в яблоке червяка, выбросил серёжки в распахнутое окно...

– Я сделаю тебе приличные серёжки! На сколько дней вы приехали?

– На шесть, – отвечала Эшка недрогнувшим голосом, но глаза её, мелькнув едва заметно в сторону Лёвки, успели прямо-таки обжечь его горем и отчаянием.

– Почему так мало? – огорчился старик.

– Мы не можем дольше. У Лёвы очень ответственная работа... Он запускает новый цех. Так что мы пойдём, наверное. Я хочу ему город показать.

– Ладно, – согласился старик, будто Эшка спрашивала у него разрешения. – Сходите, погуляйте... Покажи ему оперный театр. Бэтя пока займётся обедом, а я... Ты не помнишь, Бэтя, куда я положил коробочку с моими коронками? Я поставил себе пластмассовый протез. Что-то мне перестало нравиться золото во рту...

По лестнице Лёвка с Эшкой бежали, перегоня друг друга. Чуть не на четвереньки бросились под дядькиными окнами. Во все щели заглядывали! Траву под деревьями по листику пересмотрели! Эшка палочкой расковыряла старый слежавшийся мусор под бровкой, Лёвка и ветки акации на всякий случай потрусил...

Скорее всего кто-то увидел, как серёжки летели, и сразу подобрал. Эшка так плакала...

Вечером Бэтя устроила прямо-таки праздничный обед. Непонятно было, когда она успела столько наготовить. Но уязвлённому Лёвке за простодушным гостеприимством хозяев теперь мерещилось бог знает что. Желание ослепить, унижить, поучить... И Лёвка улыбался как-то нехорошо, как следователь на именинах у родственника-спекулянта.

Вообще-то классовое чувство в Лёвке дремало, хоть и был он членом партии с сорок второго года. Швейцарское детство не сделало его завистливым, он вполне уважительно относился к чужому богатству. Но после серёжек... Любая Лёвкина похвала, любое замечание о посуде, о мебели, даже о еде имели неприятный подтекст. Эшка мучилась и краснела, а дядя ничего не замечал и легко клевал на Лёвкины подвохи.

– Тарелки? Э-э! Да это разве тарелки! Вот у меня сервиз был – четыреста три предмета! На пятьдесят персон! Приборы серебряные, с инициалами! Вот – одна вилка осталась и ещё две ложечки. Вон там, – старик указал толстым пальцем на стену у себя за спиной, – накрывали стол на шестьдесят человек!

– Может, вся эта квартира была ваша? – как бы вскользь предположил Лёвка.

– Квартира?! – старик потрясённо вытаращился на Лёвку, а затем поволок его к окну. – Смотри! Все эти дома – мои! Вся улица – моя!

И он победно уставился на Лёвку с таким видом, будто только что сделал его наследником всех этих окон, дверей, деревьев и булыжника.

Половина Лёвкиного существа, легкомысленная и бесшабашная, сомнительный дядин дар с удовольствием приняла. Второй же половине, бывалой и партийной, захотелось поскорее оказаться подальше от опасного родича. Впервые Лёвка оценил разумную скрытность своего тестя.

Заглядывать в приоткрывшийся ему уголок канувшего прошлого он не стал. Не стал ничего выспрашивать у Эшки. Зачем? Разве он бросил бы Эшку, окажись даже, что дядя её – сам Ротшильд?

Лёвка давно уже решил для себя, что Эшка и умнее его, и гораздо осмотрительнее, что на неё можно во всём полагаться. Раз Эшка привезла его в этот дом – значит, нет тут ничего опасного. И, однако же, все эти шесть дней он старался пораньше уйти из дому и попозже вернуться. Большой частью они сидели на пляже, даже вечером, когда публика перемещалась

в город на набережную. Эшка снова взялась вышивать своих богатырей и за шесть дней почти закончила коня под Ильёй Муромцем. В Одессе оказались нитки телесного цвета. Эшка хотела было выпороть малиново-розовые лица богатырей, но потом передумала: сказала, что они всегда будут напоминать ей день их первой встречи.

Удивительная вещь! Лёвкин роман, который завязался так буднично, после свадьбы не то что не зачах, а лишь начал разворачиваться и ярко расцветать... Ему всё милее становилось личико жены – личико очень стеснительной девочки, которая тем не менее хорошо знает, что она взрослее и рассудительнее всех вокруг. Иногда Лёвка смотрел на неё и как бы взвешивал своё чувство, как бы говорил себе: “Да, сильнее любить уже невозможно...”. А она вдруг как-нибудь смешно откусит ниточку... Или скажет что-нибудь – так верно, так красиво, что Лёвку будто в грудь толкнёт! Вроде как в ёмкость, и без того уже переполненную, влили ещё! И ещё! Даже больно иногда становилось!

Рядом с Эшкой Лёвка начал понимать такие вещи, о которых раньше бы и не задумался. Взять хоть эти серёжки.

Дядя их сделал-таки. Вручил накануне отъезда. Лёвка как увидел их – так и замер... От удивления, от стыда за свой подарок, выбранный в угловом галантерейном. Он понял старика и простил.

Это был продолговатый овалчик, затянутый ажурным золотым кружевцем и чуть свёрнутый спиралью. Внутри спиральки, едва касаясь её, висела крошечная полураспустившаяся роза. С тремя листиками! С бутоном! И едва заметными шипами!

Хаим-Шая, когда увидел это чудо, тут же схватил увеличительное стекло и обнаружил, что на листьях есть даже прожилки. Час, наверное, вертел серёжки так и эдак, будто от него требовалось заключение, что они сработаны без изъяна. В конце концов покачал головой и сказал Эшке: “Носи”.

А вот Эшка как раз и не стала их носить. Один раз приложила к ушам, когда Лёвка пристал: “Надень, надень!” Они как раз собирались на танцы. “Посмотри, – сказала. – Разве эти серёжки для меня? Представляешь, на какой красавице они должны бы быть! С такими серёжками у меня лицо покажется ещё проще, чем оно есть на самом деле!”

И Лёвка увидел. Не стал больше уговаривать. Пошёл в тот же магазин и купил серёжки вроде первых, свадебных. Но – получше. Во-первых, понял, что к чему, во-вторых, зарабатывать стал прилично.

То ли от этого, то ли от природной своей гордости – надумал он вести отдельное хозяйство. Хаим-Шая к такому решению отнёсся с полным уважением. Вообще он ни во что не вмешивался, хотя образ жизни молодой семьи не мог его не смущать. Утром валяются до последней минуты, а потом опаздывают, еле успевают проглотить чай с бутербродом... По дороге с работы завернут в магазин за сосисками или куском колбасы... Свиная, не свиная – всё равно! Прибегут домой, быстро-быстро начистят в кастрюлю картошки, переоденутся. Эшка – в розовое платье, Лёвка – в новый коричневый костюм. Поедят свою картошку чуть ли не стоя – и в парк, на танцы. Ни супа, ни компота, ни солидности в поведении...

Даже Брайна, которой ни до чего не было дела, изумлялась: “Зачем она ходит на танцы? Она что – деревенская? Она что – жениха там хочет найти? Замужняя женщина! Беременная! Хоть бы перед работниками своими постыдилась!”

Брайна имела в виду сотрудников. Но как раз сотрудники Эшку поддерживали, души в ней не чаяли. Сам начальник милиции ходил к Лёвке объясняться, когда тот решил, что жена его может и не подниматься в такую рань за несчастные четыреста двадцать рублей. Начальник пообещал, что Эшке скоро повысят зарплату. Он доказывал, что Эшке никак нельзя бросать работу, потому что она не какая-нибудь там обычная паспортистка. Что время трудное: кто-то приезжает, кто-то хочет отделиться, кто-то не хочет кого-то прописать – а у Эшки хватает терпения вникнуть, разобраться, успокоить людей, предотвратить скандал... Рассказывал, что, пока Эшка в Одессе отдыхала, в коридоре крик стоял и плач. Раз даже “скорую” вызывали...

Лёвка вник и в конце концов смирился, даже стал гордиться Эшкиной милицейской формой и её особым положением.

Даже декретного отпуска у Эшки, можно сказать, не было. Домой приходили люди! Лёвка качал на веранде младенца, неделю назад привезенного из роддома, подмигивал сверху соседям, кивал на дверь: “Адвокат ведёт приём! Как вам нравится? И дома её достали!”.

Тихого и рассудительного Эшкиного голоса со двора слышно не было. Казалось, что посетители её разговаривают сами с собой.

– С какой стати я должна её прописать на свои несчастные семнадцать метров?! Сын служил на Дальнем Востоке и там её нашёл! Она здесь и дня не прожила! Даже в гости не приехала ни разу! А теперь отдавай ей полкомнаты!

– ...

– Что значит – “закон”?! Это правильный закон?! Мало того, что я потеряла такого сына – так я теперь ещё и без своего угла должна остаться?

– ...

– Да! Против ребёнка я ничего не имею! Одного ребёнка я бы прописала! Чтоб эта комната после меня ему осталась!

– ...

– Конечно, родная кровь... Конечно, против ребёнка я ничего не имею...

– ...

– Вы правы... Увезёт и подговорит его так, что он меня и знать не захочет...

– ...

– Это точно... На старости страшно остаться одной...

Вздорный, почти неменяемый старушечий крик постепенно обретал умиротворённую ясность, слёзы гнева сменялись слезами умиления.

Случалось и наоборот: Эшка отговаривала посетителя прописывать кого-то на своей жилплощади.

– Почему я не должна ему верить? Почему я должна сомневаться?

– ...

– Ладно. Не сомневаться, а “быть предусмотрительной”. Что, я уже такая страшная, что меня можно взять только за квартиру?!

Соседи, рассеявшиеся на лавке, как в первом ряду кинотеатра, вытягивали шеи, прикладывали ладони к ушам, чтобы расслышать Эшкин ответ. Но понапрасну. И вздыхали, будто пропустили лучшее, когда снова вступал голос чуть присмирившей дамы. “Возможно, вы правы... Боюсь, что вы правы... Пожалуй, вы правы...”.

Народ был жаден до развлечений. Телевизоры ещё не появились... Лёвка, которому с веранды было слышно каждое слово, подтверждал, что самое интересное говорит именно Эшка. Иногда в этом радиотеатре он снисходительно брал на себя роль микрофона. Наваливался на перила веранды, свесив во двор руку с замусоленной папиросой. Другой рукой он качал невидимую коляску. И, улыбаясь со щучьим самодовольством, небрежно заполнял паузы. “Эшка её уговаривает не идти жить до тётки. Говорит, что лучше не стеснять её, а потерпеть. Комната, говорит, у тётки большая, и оттуда её с детьми на квартирный учет не возьмут. И они, говорит, навсегда останутся в тесноте, и ещё тётку за её доброту будут ненавидеть и выживут куда-нибудь за шкаф... Та обижается... Говорит, что она порядочная и дети её хорошие...” – “А Эшка?” – “Эшка говорит, что все порядочные, пока не привыкнут... А когда привыкнут, скажут, что ребёнку против двери холодно, что ему надо светлое место, где делать уроки... Лучше, говорит, немножко помучиться, но дождаться, пока им дадут комнату с работы, а тогда уже и съехаться с тёткой, если тётка захочет...”

Соседи кивали удовлетворенно, как ценители, встретившие профессионала высшего класса... И большие листья ореха шелестели, шелестели, будто с тихим восхищением передавали друг другу Эшкины слова.

Именно в этот момент Эшкина популярность в городе особенно разрослась. К ней стали приходиться за советом даже из пригородов.

Вопросы бывали самые неожиданные, и всё чаще они не имели отношения к прописке и жилплощади. Как-то Лёвка чуть не прослезился. К Эшке пришла женщина, муж которой попал в аварию и остался без ноги. Он и до войны ещё погуливал... И на фронте сошёлся с санитаркой... В последнее время жену и в грош не ставил. А как раз за день до аварии вообще сказал, что хочет с нею развестись. “И так, и так будет трудно, – сказала Эшка. – Хоть бросите вы его, хоть с ним останетесь... Может, он после этого несчастья станет лучше. А может – наоборот. Я ведь и его не знаю, и вас не знаю. И что там у вас было на самом деле, не знаю. Что же мне вам посоветовать? Единственное... Представьте себе, что всё наоборот, что беда случилась с вами и он пошёл к кому-то советоваться, можно ли вас бросить...”

Лёвка пальцами щёлкнул от восхищения, просто диву дался. И откуда она всё это знает? Девчонка ведь, в сущности! Хаим-Шая, который тут же рядом варил на примусе бульон, покачал головой: “Из неё бы вышел не просто адвокат... Хороший адвокат!”

Лёвка и себе, и другим внушал, что тесть ему вполне безразличен. Но на самом деле его неприятно сверлила мысль, что Хаим-Шая именно его, Лёвку, считает виновником несостоявшейся карьеры умницы Эшки. Однажды, вскоре после женитьбы, он до того дошёл в своей мнительности, что заглянул в чужое письмо. Не выдержал! Лежало прямо на столе, недописанное... Он сказал себе, что хочет лишь проверить, не разучился ли ещё читать на родном языке. Оказалось, что идиш он действительно слегка подзабыл, но в общем-то всё понял. Письмо было короткое, простенькое. Тесть сообщал брату, что Эшку на работе ценят. Что сам он завален заказами и не может позволить себе ходить по врачам. Что в настоящее время главная его забота – женить Арончика. Что невеста Арончика не должна быть красива, но и уродиной быть не должна. Не умная, но и не слишком глупая, бедная – но не нищая...

О самом же Лёвке упоминалось лишь раз, и это, судя по всему, был отклик на совет, данный одесским дядей. Касался он Лёвкиных ног... Лёвка не оскорбился. Проблема эта возникла ещё на флоте. Конечно, и у сослуживцев Лёвкиных пахло из штиблет не одеколоном “Кармен”... И всё же не так, как у него.

Для утешения Лёвка внушал себе, что это нормальное, хотя и не очень приятное свойство мужчины. Как храп или необходимость бриться. Никуда не денешься... Но в этом своём свойстве Лёвка слишком уж преуспел! Стоило ему раза два сходить на работу в новых туфлях, и уже нельзя было их не то что прятать в шкаф – но и просто оставить на открытом месте под вешалкой. Или там чуть приспустить с пятки, сидя за столом...

Чего только не предпринимала чистюля Эшка! И ванночки с содой, и уксус, и пудра, и газета, смоченная духами, и... Казалось, это Швейцария напоминает о себе таким образом – изжитая, смытая, сведенная, но неистребимо гнездящаяся где-то в недоступной глубине... Злорадно стекает она в эти самые ботинки со свежей картонной стелечкой, повторяющей абрис широкой и тяжелой, как утюг, Лёвкиной ступни... Помни, мол, родину!

Счастье, что Эшка умела обставить свои хлопоты как-то необидно. Никогда не скривится, не отпрянет брезгливо... В каждом жесте – только старание и забота. Посмотришь, как она на корточках возится с его шкрабами – так и толкнёт тебя в грудь нежность, будто волна в борт ударила.

Казалось бы, уже и домработница в доме есть. Нет! Это не её дело! А что, собственно, её дело? “За ребёнком смотреть”. А что за ним смотреть? Спокойный, всем довольный. Мордашка круглая, будто циркулем нарисованная. Губастый, как Поль Робсон. Уписанный, холодный – всё равно! Сидит себе, улыбается, пальчиками играет... Или железками Хаим-Шаи – это уже когда стал постарше, научился ходить.

Ребёнок был чистенький, толстенький – и считалось, что это заслуга няньки. Но какая тут заслуга? Мишенька всегда готов был поесть и поспать. А стирала и готовила Эшка. И ещё меню согласовывала с нянькой: “Раечка! Ты рассольник ешь? Тебе какая рыба лучше: жареная или заливная?” – “Заливная лучше. Только побольше томата”.

Вот так. Иначе Райка не привыкла. Родом она была из той же Швейцарии, но ещё и подкидыш вдобавок. И по поводу её происхождения никаких сведений не имелось – исключительно догадки. По внешним данным Райки, а также по тряпице, в которую она была обмотана, когда Тайбл Чмут обнаружила её под гнилым крыльцом своего дома, можно было предположить, что мать её – отнюдь не дочка польского помещика, соблазнённая приезжим графом.

В еврейской части города все знали друг друга и жили так тесно, что беременность женщины, а незамужней – в особенности, не могла пройти незамеченной. Да и не принято как-то было подбрасывать детей! В крайнем случае могли отдать новорожденного в богатую бездетную семью. И происходило это под плач и причитания, после совещания с раввином и с одобрения всех соседей.

Конечно, Швейцария, в отличие от Старого города, Русских фольварков или Польских фольварков, была многонациональна. Но, спрашивается, зачем бы это христианской девушке подбрасывать ребёнка евреям? Почему бы просто не отнести его в сиротский дом? Неужели там было бы хуже, чем у Тайбл Чмут?

Чмуты в Швейцарии считались такими же нищими, как и родители Лёвки и Нуськи. То есть сам-то Чмут зарабатывал больше, чем Лёвкин отец. Но усилия его сводились на нет, оттого что хилые чмутовские дети, изуродованные рахитом и всяческими язвами, жили себе все до одного и помирать не думали. Несомненно, человек осведомленный не подбросил бы ребёнка туда, где уже имеются девять своих. С другой стороны, дурёха Тайбл, хоть и приветствовала младенца изысканной бранью, но в точности такой же, что и своих собственных голодранцев. Бог дал – Тайбл взяла. Не торгуясь и без благодарности. Дело обычное: кого-то она родила легко, с кем-то промучилась двое суток, а эту вот – вытащила из-под крыльца. Хорошо, что соседские свиньи не опередили. Во всяком случае – не пришло ей в голову тащить ребёнка в приют.

Что касается тайны усыновления – о такой проблеме никто и не задумался. В минуты нежности, так же как и в более частые минуты раздражения, Тайбл называла Райку “байстрючкой”. Менялась лишь интонация.

В целом Тайбл уделяла Райке так же мало внимания, как и родным детям. И так же скудно кормила. Но “байстрючка” была покрепче других чмутят и вела себя беззаботно. Как кукушонок, забирала, что хотела, у тех, кто был слабее и мельче. Среди чмутовских заморышей она резко выделялась, хотя и сама не была ни великаншей, ни красавицей.

Это и спасло ей жизнь: на старом кладбище, где городские евреи рыли сами себе длинную, как траншея, могилу, Тайбл прицепилась к одному из немцев и на своём полуукраинском идише стала втолковывать ему, что Райка ей не дочь, а следовательно, вовсе не обязана лежать в этой узкой неудобной яме. Немец, когда понял, посмотрел на Райку – и поверил. Даже с полицаем советоваться не стал. Велел ей убираться. И Райка поспешила убраться. С матерью своей приёмной не попрощалась, не оглянулась на сестёр своих, у которых столько лет безнаказанно выхватывала из жидкого супа лапшу.

– Иди в село! – кричала ей вслед Тайбл. – Уходи из города!

Для такого решения у шестнадцатилетней Райки хватило бы и собственных мозгов: она была черноглазая, черноволосая. и мордашка её, круглая, даже несколько сплюснутая по высоте, с маленьким лбом и курносый носиком, могла с одинаковым успехом сойти и за еврейскую, и за украинскую.

Став взрослой, Райка вела себя соответственно тому, в какой компании оказывалась. Не то чтобы она думала: “Вот с украинцами я буду “гэкать”, буду говорить и смеяться по-ихнему, буду подшучивать над евреями”. Но именно так у неё и получалось.

То же – и в еврейской компании. Таких удивлённых модуляций, таких горестных подвываний, такого неряшливого фатализма не было и у самой Тайбл Чмут! Порой Райка даже картавить начинала похлеще, чем сам Хаим-Шая. Хотя нетрудно было заметить, что никому вокруг это её перевоплощение не доставляет удовольствия. Она очень удивилась,

когда однажды деликатная Эшка с возмущением прервала её рассказ о странных замашках деревенских гоев.

– Как ты можешь высмеивать людей, у которых пряталась четыре года? Ты, наверное, и нас вот так же обсуждаешь с другими нянями в садике!

Райка не растерялась.

– Во-первых, – сказала она, – я у них не пряталась, а жила на квартире и ходила работать, как все. Они бы меня и на двор не пустили, если бы думали, что я еврейка. А куда я с Мишенькой хожу – так няньки там не сидят! Мне там обсуждать не с кем...

Эшка не стала спорить: знала, что толку от этого не будет. Райку она взяла в дом не за её высокие человеческие добродетели, а из жалости. Причём, не столько к Райке, сколько к несчастному Вуте, её случайно уцелевшему братцу.

Бывает же! Вот Маруня... Красавица! Умница! Из-за пустяковой ссоры с мужем выезжает двадцать первого июня из Москвы... И куда?! В самый ад! И муж её, лётчик, погибает в первые же дни войны.

А Вутя Чмут – безграмотный, плоскостопый, одноглазый – того же двадцать первого отправляется на свадьбу к другу, который служит в Воронеже...

Из Воронежа Вутя эвакуировался на Урал. Там встретился с землячкой, Зиной Губергриц, такой же красавицей, как он сам. Домой они вернулись вместе. И с двумя мальчиками-погодками.

От собственных родителей Вутя получил в наследство лишь исключительную плодовитость. А пятнадцатиметровая комнатка в сыром углу Эшкиного двора принадлежала Зине. Но, не задумываясь ни на секунду, Вутя впустил туда сестру, явившуюся из деревни, с её двумя узлами и сельским запахом. Он и прописал бы её, не вмешайся в это дело осмотрительная Эшка.

Эшка как раз должна была выйти на работу и подыскивала для Мишеньки няню. Хаим-Шая не выразил восторга по поводу такого выбора, однако противиться не стал. Он положился на известную всему городу Эшкину рассудительность и лишь напомнил ей, что собирается заняться вплотную поисками невесты для Арончика. Как только найдётся толковая, они со старухой оставят левую комнату сыну, а сами перейдут в проходной коридорчик, где пока что может спать домработница. Так что Райка не должна заблуждаться и думать, что устроилась на всю жизнь.

Эшка отвечала, что всё это девушке известно, что она посидит с Мишенькой до тех пор, пока того можно будет сдать в ясли. Эшка же за это время постарается найти ей хорошую работу с общежитием, а, может, и подходящего парня. Пока же она решила повесить перед кроватью занавесочку, чтобы девушку не беспокоили и не смущали.

Опытный Лёвка, которому после тяжёлого рабочего дня пришлось возиться с гвоздями, не желавшими держаться в побелённой фанере, уверял, что Райке нужна занавеска, как ему лично фрак или шляпа с пером. Разве что Райка надумает водить за эту занавеску солдат из гарнизона. Такой его мужской цинизм очень обидел Эшку. Но оказалось, что прав был как раз Лёвка. Занавеска постоянно болталась где-то сбоку. То ли Райка забывала её задвинуть, то ли хотела видеть, что происходит в доме – в таинственном доме ювелира Хаим-Шаи. Случалось ли Лёвке после длинного партсобрании ввалиться в коридорчик, предварительно пробухав по веранде отяжелевшими за день ногами, или бледное привидение Арончика проносилось мимо, опустив голову и придерживая плохо застёгнутые брюки – Райка не спешила натянуть одеяло до подбородка. Тихонько раздеваясь в своей комнате, Лёвка думал с досадой о том, что тёща могла бы спокойно справиться с ребёнком. Он осторожно укладывался рядом со спящей женой и гордо улыбался. Да что там – он просто наслаждался ощущением собственной чистоты и праведности... Не волновала его Райка. Ну ничуть! Хотя... здоровым мужским умом он объективно оценивал и тяжело улётшиеся груди, и бедро, круглой горой вздымающееся одеяло над ущельем запавшего бока...

В сытом доме Хаим-Шаи Райка отъелась за всю свою жизнь и пышно раздалась во все стороны. Для тех, кто жаждал выяснить, есть ли у Хаим-Шаи зарытое золото, Райкин беспардонный расцвет служил одним из веских доказательств. Просто злость брала при виде этого приросшего к лавке тела с толстыми ногами, отвалившимися одна вправо, другая влево, как два ленивых зверя. “Если они домработницу так кормят, как же сами едят? И это с примусов?!” Принимая Райкину сытость за простодушие, пытались у неё что-нибудь выведать. Райка помалкивала, и в улыбке её сквозил незамысловатый садизм. В глаза ей заглянуть не удавалось, ибо они неотрывно следовали за ребёнком, будто свою обязанность “смотреть за ним” Райка исполняла буквально.

От такой работы и на хлебе с водой можно было поправиться! Одно удовольствие! Ребёнок бегает себе туда-сюда, в песочнике копается. Шлёпнется или песка наестся – сам несётся к Райке, подставляет ушибленную ладошку, чтоб поцеловала. Терпеливо ждёт, пока нянька счистит грязь с его круглой мордашки своим наслюнявленным платком.

Райка сглазу не боялась. Наоборот, очень любила, когда Мишеньку хвалили. А ещё больше, когда принимали его за Райкиного сына. “Как он на вас похож! Одно лицо!” Райка млела... Тем более, что обычно говорили это военные из гарнизона. Свои-то хорошо знали, чей ребёнок. И дед его был популярен в городе, и мать. И – отец.

Дело в том, что начальником цеха Лёвка пробыл недолго. Цех его очень скоро отпочковался от фабрики и превратился в небольшой завод пластмассовых изделий, а Лёвку, хоть и не без колебаний, назначили директором. Молодой, энергичный, умеет с народом ладить, вся грудь в орденах, член партии... А что нет у него образования – так и у других не густо. Да и завод этот... Одно название! Главное, вонь невыносимая. И, возможно, даже вредная для здоровья.

Вскоре выяснилось: не просто вредная, но даже очень. Что-то там на что-то разлагалось, с чем-то соединялось... Лёвка в этом не разбирался. Он знал лишь, что от этого люди, включая его самого, начинают покашливать, и его директорская обязанность – добиться за это компенсации. Такая Лёвкина позиция очень повышала его популярность в коллективе.

Лёвка был фанатиком своего дела и любил поговорить о том, что наступает век пластмасс. Начальство слушало с уважением, тем более что заводик его стал потихоньку разрастаться, пошёл в гору. И хотя партийный билет всё же не диплом, Лёвку с его справкой об окончании семи классов не решились спихнуть даже тогда, когда разом полетели со своих постов директора-евреи.

Главное, все эти Нахмановичи и Лившицы сами облегчили задачу, сами подставились... Вдруг надумали над ямами памятник соорудить. Дескать, чешская дивизия своим сразу памятник сделала – а мы что ж? Почему наши отцы и сёстры столько лет лежат в земле, как удобрение? Ни уважения, ни памяти! Хоть бы оградку какую от коз! Хоть бы камешек, чтобы было куда положить цветочек! Взяли да и выделили каждый от своей конторы по вполне скромной сумме на памятник жертвам фашизма. Бумажные цветы и всякие там транспаранты для первомайской демонстрации обходились дороже.

И надо же – такой разразился скандал! Кого уволили, кого ещё и из партии исключили...

А ведь умница Эшка предупреждала! Вроде и газет почти не читала, и радио не очень слушала, а всё твердила Лёвке: “Надо, обязательно надо поставить памятник! Но не сейчас! Неподходящий сейчас момент! Вот видишь – критиков каких-то ругают. А фамилии сплошь еврейские...” – “Так я же не собираюсь писать театральную критику!” – отшучивался Лёвка. А Эшка всё ворочалась и вздыхала: “Зачем вы заказали большой памятник? Лучше бы положили по два камешка: в начале – и в конце каждой ямы. Небольших, как на старом кладбище. Так бы даже печальнее было...”.

Лёвка понял эту её мысль. Действительно, хоть и проще, а как-то в самом деле жальче. Но он сомневался в том, что другие поймут. Да и памятник был почти готов. Копия того, что поставили чехи, только чуть крупнее. Ничего грандиозного... Первый секретарь обкома партии Кулешов теще своей поставил почти такой же: куб из тёмного гранита, затем белый мраморный кубик, а на нём – серый обелиск.

Долго спорили, какую бы это сделать надпись, чтобы нельзя было подкопаться. Хитрый Рабинович, старший инспектор центральной сберкассы, придумал такое: “Здесь покоятся восемнадцать тысяч советских граждан, расстрелянных фашистскими оккупантами в августе 1941 года”. А на обратной стороне плиты выбили тот же текст, только на древнееврейском. Эшка советовала этого не делать, но старики настояли. Будто кто-то в городе мог читать по-древнееврейски!

Поначалу только к этому и придрались. Надо снять! Но потом закрутилось! Городское начальство за себя испугалось. Уже начали в газетах космополитов ругать... Посадили еврейских писателей, которых до войны в городе принимали, как каких-нибудь полярников! Для каждого главное было – отвести удар от себя лично. Тем более, что памятник действительно поставили самовольно, ни у кого не спросив разрешения.

Всё могло закончиться и куда хуже, если бы на заседании специальной комиссии Лёвка уступил бы инициативу грамотному Рабиновичу. Но, подученный женой, Лёвка упрямо сводил дело к бытовым мелочам. Они, мол, считали, что, поскольку эта территория относится к кладбищу, не надо спрашивать разрешения. Что теперь солдатики перестанут играть в волейбол на площадке, под которой лежат косточки тысяч детей, зарытых живыми. Что хозяйки перестанут пасти там коз. Что лично он, Лёвка, не покупает на базаре молоко, поскольку боится, что коза могла съесть траву, проросшую из тела его, Лёвкиной, матери, от которой даже фотокарточки не осталось! И чем делать скандал из-за этого памятника, городская санэпидстанция проверила бы лучше, не пьют ли люди молоко с трупным ядом! Ведь всем известно, что над телами насыпали не больше метра земли...

И что же? Рабиновича с его “пролетарским интернационализмом” посадили, а Лёвка отделался строгим выговором. Но страху – страху все натерпелись...

В эти смутные времена даже Райка приуныла. Спрашивала потихоньку у знакомых, не нужна ли кому домработница, хотя и знала, что такой вольготной жизни не будет нигде.

Вся эта опасная заваруха породила в городе новую волну сплетен. Будто бы деньги и на памятник, и на ограду дал Хаим-Шая. Что ездил он вовсе не в Жабунёвку, где кто-то якобы приискал невесту для Арончика, а к знаменитому своему кладу. Причём взял он лишь малую часть своего золота, но этого хватило ещё и на то, чтобы выкупить из-под следствия зятя, а вдобавок – нарядить внука в генеральский костюмчик! Говорили, не столько веря в свою правоту, сколько желая спровоцировать на откровенность Райку. Но та лишь очень внимательно слушала, а сама молчала.

По правде говоря, ей и сказать было нечего... Искала, искала она хозяйский клад... Оставаясь дома наедине с ребёнком, рылась в вещах, пыталась приподнять половицы, выстукивала стены. Даже шарила в печи...

Что же касается костюмчика (кстати, не “генеральского”, а “адмиральского”), то сшила его Эшка своими собственными руками, пока болела плевритом. Из парадного Лёвкиного кителя, до которого добралась моль. Сама скроила брючки и пиджачок. Сама даже фуражку смастерила! В нужных местах нацепила все эти золотистые штучки: звёздочки, веточки, якорьки... Чего недоставало – Эшка доделала сама из золотых ниток. Она их вытягивала на глазах у Райки из ленточек, которыми завязывали в магазинах кульки с дешёвыми конфетами и коробки с мармеладом. Но Райка почему-то и об этом никому не говорила. То ли боялась вступаться за опальных хозяев, то ли не хотела принижать ценность вещи.

Райка костюмчик этот обожала. Трепетала от восторга и гордости, когда крошечный пузатенький адмиральчик – ну совсем, как настоящий! – вышагивал перед нею по садовой аллее. Или по центральной улице, куда она нарочно выводила Мишеньку для развлечения публики. Только что денег не брала за потеху!

Ребёнок, правда, быстро рос, и Райку это сильно огорчало. Она даже как-то попеняла Эшке.

– Видишь? Выпускать уже нечего! А ты столько возилась!

– Ничего, – засмеялась Эшка. – Ещё немножко поносит – и подарим кому-нибудь. Вот у Вути твоего жена снова беременная...

Райка чуть не подпрыгнула

– Ой! Эшка, не надо дарить его никому! Скажи мне, что ты его никому не отдашь!

– Ладно, ладно... – улыбнулась Эшка с тёплым женским пониманием.

Но поняла она Райку всё же недостаточно верно.

Выяснилось это вскоре после того, как тучи над Лёвкиной жизнью и карьерой окончательно рассеялись, а Хаим-Шая объявил сыну, что они выезжают в Жабунёвку знакомиться с девушкой, подходящей во всех отношениях.

– Собирайся, собирайся! – строго начал Хаим-Шая, готовый к тому, что Арончик станет придумывать разный вздор вроде санитарного дня в парикмахерской.

Но Арончик вдруг вытянул свою шею во всю длину. Льдистые глаза его мгновенно ввалились и страшно засверкали из глубины, а впалые щёки – сильнее втянулись.

– Мне не нужна невеста! Я уже год женат!

И, обнаружив, что не только небо, но и потолок не обрушился, добавил:

– Я требую разрешения оформить наши отношения в загсе! Мы ждём ребёнка, и не смейте меня отговаривать!.

А Райка сидела на табуретке так, будто весь этот шум и беготня её не касаются.

Бегали к Фире с Нуськой... Бегали к Вуте... Вутина беременная жена кричала, что Райка их подвела, опозорила перед соседями, и, как рекомендовавшая Райку, требовала от той сделать аборт.

Эшка плакала. Она жалела Райку, но не настолько, чтобы видеть её своей невесткой. Ясно было, что Райка не может ни любить, ни понимать Арончика. Но больше всего убивало Эшку то, что Лёвка, как выяснилось, давно знал обо всей этой грязной истории – и молчал, полагая, что она в порядке вещей. Он слышал, оказывается, как Райка соблазняла трусившего Арончика – почти насильно, будто сопливого мальчишку! А однажды стал и непосредственным свидетелем... Последующей стадии... Называя вещи своими именами, Лёвка объяснил тестю, что Арончик “сильно пристрастился”, и удаление Райки может пагубно сказаться на его здоровье. Что можно, конечно, уломать Райку на аборт, дать ей отступного и отправить куда подальше, но как бы от этого Арончик не попал в психушку...

На каждый Лёвкин довод старик отвечал вялым взмахом длинной руки, а на последний – понуро качнул головой.

Зато старуха ожила сверх всяких ожиданий и без конца повторяла, что Райку надо было поместить в одной комнате с ними, а Арончика – в проходной.

Эшка тоже мучилась запоздалыми сожалениями. Она вдруг осознала, что в последнее время очень мало заботилась о брате, что именно чувство одиночества толкнуло Арончика за Райкину незадёрнутую занавеску. Может, оттого он и нервничал так в последнее время, что боялся разоблачения? А теперь что ж... Теперь он привязался к Райке. Надо смириться. Успокоить его, поддержать. Хочешь не хочешь, а Райка стала членом их семьи. И уж ребёнок её точно ни в чём не виноват! Так что следует поспешить со свадьбой.

Дело было зимой. Свадьбу устроили в длинной комнате Фире. Скромненькая свадьба... Как-то оно так выглядело... будто Хаим-Шая женит своего конюха на служанке.

Райка вела себя, как всегда, естественно. Арончик, освободившись от тяжкого гнёта тайны, несколько повеселел. Он был горд тем, что женится. Главное – сам, без вмешательства отца.

Не злорадствуя и не смущаясь, перебралась Райка в комнату Хаим-Шаи и его благоверной, уступив старикам свою, достаточно широкую кровать. Вместе с занавесочкой.

Ну что ж... Так, собственно, и планировалось: в центре – родители, по бокам – две молодые семьи. Как крылья. Ну, не был старик в восторге от брака своего сына! А разве он скакал от счастья, когда вышла замуж дочь?

Увы, Райка оказалась даже несколько хуже, чем все думали.

Надо сказать, что и ей самой эта трудная победа особой радости не принесла. Забот у Райки сразу прибавилось: стирка, уборка... Выяснилось, что хорошо она умеет только смотреть за Мишенькой, а Мишеньку отдали в ясли. Особенно раздражало Райку то, что не открыли ей никаких семейных тайн. Однажды, не выдержав тщетного ожидания, она прямо заявила мужу: “Скажи отцу, что я хочу кольцо и серёжки!” Испуганный Арончик сразу поспешил к отцу, и Райка с недоумением слушала через фанерную перегородку, как он просит у старика одолжить денег на обручальное кольцо. “Чем моя жена хуже других жён?! Лёвка же купил Эшке кольцо и серёжки! Я тебе сразу верну, когда получу зарплату!”

Старик ничего не отвечал, но слышно было, как он отщёлкнул кнопку кошелька и зашуршал деньгами.

Этих денег хватило бы, чтобы купить кольцо, такое же, как у Эшки, и такие же позолоченные серёжки. Но у Райки палец оказался гораздо шире, поэтому хватило только на кольцо.

Деньги старику так и не вернули. Райка от получки до получки не дотягивала. Арончик ходил к отцу просить отсрочку. При этом он мучительно мялся и страшно дёргался. Хаим-Шая поспешил простить ему долг. Не от щедрости, а оттого, что боялся, как бы у Арончика на почве переживаний не началось обострение.

Продуктами, полученными за починку примусов, Хаим-Шая с детьми делился. Райка лениво следила за тем, чтобы Эшке как-нибудь не перепало больше. Сама она на месте старика именно так бы и делала.

Нравилась ей Эшка. Райка старалась ей во всём подражать. Со временем купила себе такие же, как у Эшки, серёжки в галантерейном. Шла как-то на базар... Остановилась, подумала – и купила.

Но камушек оказался чуть бледнее, и Райка из-за этого очень переживала. Был бы бледнее камушек у Эшки – ей бы больше нравился бледный.

Даже ребёнок ей больше нравился Эшкин! Её собственный уродился слабенький, нежный, хрупкий. Чем-то он был похож и на бесцветного отца своего, и на сдобную мать – а при том такой красивый, такой трогательный! Как испуганный ангелочек. Но Райка оценить его обаяния не могла.

Не к лицу ему оказался и “адмиральский” костюмчик. Фуражка съезжала, кителёк болтался. Ребёнок выглядел в нём... не вполне живым. Будто маленькое, плохо набитое чучело.

И на улице как-то меньше на него обращали внимания... Никто не говорил Райке, что у неё чудный сынишка. Наоборот, только и слышала: “Няня! У вас там ребёнка укусила оса!” Гулять с ним было не просто, не то что с шустрым Мишенькой. Вроде и сидит смирно, на месте, а чуть отвлечёшься, заговоришься с соседями по лавочке – а он уже нос разбил, пропорол грязным стеклом ладошку. Тащи его в поликлинику... Главное, дома сразу поднимается крик, гвалт, будто это их ребёнок, а не её, Райкин. Райка злилась, нагло огрызалась: “Нечего на меня орать! Я вам больше не нянька!”. Хотя, собственно, на Райку никто никогда не кричал. Шум действительно поднимали, но всегда исключительно от испуга.

Время шло, а Райка по-прежнему относилась к родне мужа, как к хозяевам. Сидела в садике с домработницами, слушала, как те жалуются на своих хозяев – и сама заводилась.

Действительно, преимущества её нового положения оказались не так уж велики. Ну, кровать у неё стала чуть шире. А варёная курица на обед, булки, варенье... Так к этой

благодати Райка ещё до замужества привыкла. Разве что, сделавшись законной супругой, она стала каждый день покупать себе халву. Пока не объелась однажды до рвоты.

Главное, скупердяй-свёкор предупреждал, что этим кончится! Среди ночи, рыча над помойным ведром, Райка бесилась от мысли, что старикашка за фанерной стеной сейчас злорадствует. Досаду свою она сгоняла на бедном Арончике, сновавшем вокруг неё с полотенцем и марганцовкой. Лягала его, безответного, то боком, то локтем.

Разумеется, Хаим-Шая и не думал злорадствовать. Хотя и нельзя сказать, что у него за Райку сильно болела душа. Просто теперь его сын имел две хворобы. Одна называлась сложно по-латыни, а другая носила имя “Рая” и его собственную фамилию.

Кстати, фамилией этой, и в самом деле не ахти какой благозвучной, Райка тяготилась. “Лис”! Но её девичья фамилия была не лучше. Так что завидовала она Эшке ещё и на её “русскую” фамилию.

Раздражаясь на всё в доме свёкра и постоянно общаясь с деревенскими девушками-нянями, Райка неизвестное своё происхождение стала всё настойчивее истолковывать в сторону славянскую. Ребёнка она назвала Васенькой – для того, чтобы хоть как-то уравновесить неудачную фамилию и ещё более неудачное отчество.

Конечно, Райка была и неблагодарная, и корыстная... Но как раз в этом случае её можно понять и даже ей посочувствовать. То был зловещий период между “делом космополитов” и “делом врачей”. Разумеется, Райка не читала газет, но радио в проходной комнатке гавкало день и ночь, вместо часов. По радио Райка определялась, когда ей укладывать ребёнка спать, когда ставить для него кашу. Так что самые обычные житейские обязанности постепенно стали вызывать в Райке зловещие ассоциации с вредителями, шпионами, отравителями, с какими-то скверными еврейскими делами, от которых лично ей, Райке, не было никакого проку. Хотелось поскорее уйти в садик, где нет ни радио, ни фырчащих примусов, ни безмолвного старика, искоса поглядывающего в её кастрюлю, ни старухи, посылающей дочь перебивать за Райкой лестницу и пол на веранде...

А главное, нет там мужа, болезнь которого поначалу казалась ей пустяковой. Тут и так трясёшься: то в поликлинике кого-то раком заразили, то на транспаранте из-под розовой краски проступил фашистский знак... А у неё муж целую неделю прячется на тёмном чердаке – и неизвестно, что там делает! Тащишь его оттуда, уговариваешь, ругаешь, а он только глазищами своими таращится! И вдруг – здравствуйте! – спускается, как ни в чем не бывало, только весь в паутине. Райке самой такая “болезнь” казалась подозрительной! Она уверена была, что в конце концов или органы, или милиция придут разбираться, что он там такое делает, на своём чердаке. Тем более что весь город и так шепчется про эти их клады, про этот памятник еврейский...

Райка и памятник искренне не одобряла. Ей казалось почему-то, что на памятник истратили то, что причиталось из общей доли – ей, Райке. Причём от неё же ещё как будто ждали благодарности! Без конца повторяли, что там лежат Райкины родители, и сестры, и племянники... По правде говоря, без этого Райка никогда и не вспомнила бы своих приёмных родителей. А такие притязания настраивали её прямо-таки враждебно к покойным Чмутам. Заставляли подсчитывать все неисполненные просьбы и все тумачи.

В доме Чмутов, где никто не претендовал ни на ласку, ни на сытость, Райка ни разу не почувствовала себя сиротой или приблудой. А тут вдруг разобиделась задним числом. Она так и говорила своим приятельницам по садику: “А я была всем довольная, потому что глупая! Спрашивается: зачем они меня взяли себе?! Были бы сдали меня в детдом! Меня бы там кормили бы лучше, одевали бы! И в люди бы вывели! Я бы, может, сама начальницей была, а не по хозяевам бы скиталась! Я ж по ихней вине в эти самые ямы чуть сама не попала! Ни за что ни про что!”.

Девочки-домработницы кивали с испуганным сочувствием. Но вполне искренни они не были. Ругать и обсуждать хозяев входило в обязательный ритуал их общения – даже если они прекрасно с ними ладили. И таким же обязательным ритуалом было докладывать дома, о чём болтают другие девочки. А уж Райкины слова передавались с особым тщанием. Не

любили Райку. Её судьба была заветной мечтой каждой из этих девочек. Райка же, толстая и нарядная, эту их мечту унижала. К её панибратству относились, как к неприличию. Они-то на Райкином месте были бы жизнью довольны и водились бы только с хозяйками!

Таким образом, все Райкины сетования доходили до Эшки, а иногда и до Лёвки. Причём – с усиленными интонациями, а то и с прямыми комментариями. Чтобы ясно было, кто это “они”, от которых Райка всю свою жизнь так страдает.

Доходили эти претензии и до брата её, Вути. Справедливый Вутя возмущался Райкиной неблагодарностью больше всех. Обидно ему было не столько за родителей своих, сколько за Эшку. Он высоко ценил Эшкино родственное отношение к своей всё разрастающейся семье.

Собственно, Эшка и раньше подкармливала Вутиных детей. Но после свадьбы Арончика этот её обычай приобрёл как бы законные основания. Так что маленькие Чмуты стали рассматривать блестящее замужество своей тётки как собственную житейскую удачу.

Лично от Райки они никаких подачек не ждали, но ходили вокруг любопытным наглым роем, когда тётка готовила на веранде обед или с песнями и шлепками кормила под орехом Васеньку. Райка племянников отгоняла. Пространство двора, осеняемое кроной ореха, она рассматривала как собственность своей семьи, поскольку посадил дерево Хаим-Шая и ухаживал за ним с тем же тщанием, с каким исполнял любое дело: подрезал, удобрял, лечил. Кстати, своим орех считали и другие члены семьи, но те, в отличие от Райки, были исключительно гостеприимны. Им нравилось, что соседи играют под их деревом в домино, что дети сбивают орехи. Спелые – или зелёные, годные только на варенье.

Расписавшись с Арончиком, Райка немедленно стала вводить новшества. Делёж, разборки... Не расти дерево прямо среди двора, Райка огородила бы его забором. И, главным образом, как раз от брата своего и многочисленных племянников.

Если бы Райка знала такое слово, она сказала бы, что Вутины дети её “компрометируют”. Эти кое-как нанизанные косточки, эта грязь, многослойная, как штукатурка на старом доме... Эти кудри – пыльные, с сучками и колючками, а то и с засохшей в неволе мухой! И пахло от них селёдкой, ихтиоловой мазью, скисшими детскими трусами! И вечно они хотели есть! Всё подбирали что-то, пробовали на вкус и рекомендовали друг другу: огрызки, падалки, зелёные ягоды, “заячий щавель”, всяческие колоски и “калачики”. От всего этого избытка они, случалось, не успевали добежать до деревянной уборной в углу двора или, не дотерпев, пока дойдёт их очередь, оставляли свои характерные отметины прямо под стеной или на обочине дорожки, что, разумеется, не нравилось никому из соседей.

И вся эта позорная шантрапа считала Райку своей тёткой. Да, скупая, да, сердитая. И все же тётка, отцова сестра.

Но кто больше всех доставал Райку – так это сам Вутя. Привяжется к ней – причём обязательно при зрителях, при посторонних! – и начнёт отчитывать. “Что это ты ходишь повсюду и наговариваешь на собственную семью, неблагодарная ты! Я тебя пристроил, я за тебя людям поручился! А ты?! С чего ты взяла, что старик давал деньги на памятник на этот?! Ты бы лучше пошла туда и свечку родителям поставила! А ты, бесстыжая ты такая, в колодец плюешься! Ишь, развелась! На тебе ж сало топится! Вот выставят тебя к чёрту на улицу – и будут правы! Сильно умная стала!”

Райка поначалу пробовала огрызаться, а потом избрала тактику, против которой Вутя был беспомощен. Делала вид, что к ней весь этот скандал отношения не имеет, что ей самой даже любопытно, кого это он так честит. “Сильно умной” она не стала, но уж Вутю точно превзошла. Возможно, от постоянного общения с Эшкой. Кстати, только об Эшке она никогда ничего плохого не говорила. Может быть, из симпатии, может быть, оттого, что не знала за нею никаких грехов. А, может, просто боялась: всё же Эшка работала в милиции, хотя и сидела в конторе домоуправления.

Эшка, пусть и проворонившая Райкин роман с Арончиком, вообще-то видела свою бывшую домработницу насквозь и не удивлялась даже самым вздорным Райкиным перлам, которые доводили до её сведения искренние или неискренние доброжелатели. Только взмахивала своей ручкой, будто отгоняя муху, которую вообще-то отогнать нельзя.

Больного Арончика щадили. Тем более что всем уже известна была его манера вступаться за жену, не вникая в суть дела, с бешено сверкающими глазами и мгновенно вскипающей у рта пеной. Сама Райка не боялась этих вспышек необоснованного гнева, выглядывала из-за плеча орущего мужа, поплёвывала семечками.

Старухе все эти разговоры и сплетни были, естественно, безразличны, а что о них думал старик, неизвестно. Лёвка же просто развлекался, попугивая золовку. Столкнувшись с ней где-нибудь наедине, поначалу заводил речь о каких-нибудь пустяках и вдруг, без всякого перехода и с видимо растущей симпатией задавал вопрос: “Так что, Райка? Считаешь, что всех нас надо отправить в Сибирь и на Крайний Север? А ты тут останешься халву кушать?”.

Райка фыркала и поджимала локотки, будто это он так неуклюже за ней ухаживает. “Отстань, Лёвка! Не приставай!”. На самом деле она очень любила, когда свояк её цеплял. Нарочно тащила на веранду или во двор к колонке, завидев, что туда направляется Лёвка. Её волновали и загорелые мускулистые руки, и шея, которую он намыливал с яростной быстротой, и свежая, туго натянутая майка, и чёрный, артистический чуб. А больше всего – глаза, глубокие и насмешливо-проникновенные, будто видны ему все твои потайные женские порывы...

Надо сказать, что точно так же Лёвка смотрел и на мужчин, и на детей, и на собак, и на зверей в зоопарке. Это могу засвидетельствовать и я лично. В те годы он постоянно ездил в командировки то в главк, то в министерство, и останавливался у нас, в семнадцатиметровой комнате, которая Лёвке в сравнении с его собственным закутком казалась просто залой. Отсутствие в нашей квартире водопровода и канализации он воспринимал как естественные для человека условия существования, а газовая плита, установленная в тёмном коридорчике, вызывала в нём восхищение, причём с оттенком легкого недоверия. Как-то, уезжая, он на всякий случай прихватил на родину наш сломанный примус и вернул его сияющим, с уверениями, что примус протянет теперь лет сто и, несомненно, переживёт плиту. Что над плитой надо стоять в тёмном коридоре и дышать угаром, а с примусом можно выйти во двор на свежий воздух, отчего и у еды будет другой вкус. Примусом мы так и не воспользовались.

Да... Так вот о проникновенном взгляде. Мне, например, казалось: дядя Лёва знает, что, когда никто не видит, я ковыряю в носу, а козьяки цепляю под бортик дивана. Что мне стыдно носить тёплые трусы с резинками и быть еврейкой, а хочется быть балериной и японкой. И многое другое знает... Но – не выдаст меня.

Спал он на моём диване. Меня же укладывали на стульях, что само по себе уже было праздником: играй хоть в паровоз, хоть в паровоз... А к тому же ещё дядя Лёва старался куда-нибудь меня сводить: покатать на фуникулёре, на катере.

Всем развлечениям я предпочитала зоопарк. В отличие от других взрослых он не командовал, не тащил меня от клетки к клетке. Терпеливо ждал, поглядывал проницательно на какого-нибудь слона или бегемота глубокими своими глазами: ну да, мол, ты – слон, ты тут стоишь на самом видном месте в просторной клетке, в столичном городе... Но меня не проведёшь... я тоже теперь директор... Знаю, знаю, что и ты когда-то бегал тощий, вшивый и голодный по какой-нибудь своей “швейцарии”...

Дядя Лёва подарил мне первый в жизни букет... Помню, мы играли во дворе в дочки-матери, и вдруг все девочки уставились на что-то у меня за спиной. Я оглянулась. В арке подъезда стоял дядя Лёва и с неизменной улыбкой своей протягивал чайные розы вперемешку с жасмином. Именно то, о чём я мечтала уже два года! Как раз накануне я устроила на базаре скандал. Молила и кланялась. Их были целые ряды, таких букетов, сияющие бело-розовые коридоры! Бабки-продавщицы тайком от мамы подзадоривали меня, самодовольно

охорашивая цветы, а то и просто бросались навстречу, наперерез... Мама была непоколебима. Она считала, что просят они очень дорого. Купленный ею жасмин меня ничуть не утешил. К тому же мне его даже нести домой не доверили, и я плакала и злилась всю дорогу. Дома меня отшлёпали и поставили в угол.

Конечно, я и тогда могла предположить, что дядя Лёва, заметив последствия скандала, спросил у мамы, в чём дело, а мама ему на меня пожаловалась. Но выглядело это, как совершенное чудо, как полная неожиданность. И как это было сделано! Не домой – маме в руки, в банку и на стол, а во двор! у всех на глазах!

Красивый, нарядный, стоял он, протянув цветы, пока я, терзая от смущения свою коротенькую юбку, спотыкаясь, как околдованная, шла и шла, и взяла их в руки... Это был мой букет! Сначала я посидела с ним на лавочке, потом вышла на улицу и несколько раз прошлась от угла до угла, с чёткой периодичностью погружая лицо в цветы. “Нюхала”. Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня с уважением и восхищением, что вся улица мне аплодирует.

Ночью за ширмой родители шёпотом отчитывали дядю Лёву за то, что он так потратился. Я очень удивилась. Я была уверена, что у директора фабрики должно быть полно денег. К тому же он сам рассказывал, что у жены его есть серёжки, а у сына – адмиральский костюм.

Впрочем, я и тогда уже считала, что дядя Лёва – немножко хвастун. Хвастал он чем угодно. Что у жены его на пятке страшная мозоль, которую ничем не удаётся вывести. Что она самая умная в городе. Что вышила гладью картину “Три богатыря”. Что у сына его, Мишки, морда круглая, а губы вот такие, как у Поля Робсона, а когда мы вырастем, он нас обязательно поженит.

Такая непрошенная честь меня смущала. Я, конечно, любила Поля Робсона... Но даже у него губы были вовсе не такие огромные, как показывал дядя Лёва. Фотографию сына он тогда с собой не возил. Зато в его нагрудном кармане всегда имелась фотография жены. Каждый раз новая. Тётя Эшка в летнем сарафане стоит среди папоротника, симпатично выставив ножку и придерживаясь рукой за цветущую веточку... Тётя Эшка в милицейской форме что-то пишет, склонясь над письменным столом – лишь на секунду оторвала глаза от бумаг, потревоженная фотографом...

Дядя Лёва брал фотографию двумя пальцами и протягивал её так, будто делился с вами своим заветным сокровищем. “Ну что? – спрашивал он и тут же сам выручал, подсказывал. – Кукла!”

Честно говоря, тётя Эшка вовсе не казалась мне такой уж красивой. Но мне нравилось, как она смотрит. Было видно, что она действительно хорошая.

Но в жизни она понравилась мне ещё больше.

Помню, мы с мамой возвращаемся с базара... Солнечно, жарко, а из нашего парадного, из приоткрывшейся темноты веет прохладным камнем... На секунду ослеплённые, мы начинаем подниматься по лестнице – и вдруг обнаруживаем, что сверху нам улыбаются тётенька и мальчик. Тётенька невысокая, у ног её стоит чемодан, а смотрит она застенчиво и одновременно как-то очень уверенно.

Я сразу её узнала и поняла, что мальчик и есть Мишенька. Голова у него действительно оказалась совсем круглая, но сам он был стройненький, тонконогий, тонкошей и в целом очень напоминал одуванчик. Он мне тоже сразу понравился. Особенно зелёная тюбетеечка, чубчик веерком, губки вишенкой и мохнатые радостные глаза без мальчишечьего гонора и дерзости. С таким можно было играть хоть в дочки-матери!

Надо сказать, что играли мы действительно очень хорошо и с утра до ночи. Командовала вообще-то я, но и он вносил в наши игры нечто своё, мужественно-воинственное. Я, например, придумала играть в “спящую красавицу”. Устроила себе катафалк из трёх стульев, утыканных розами, георгинами, гвоздиками, и улеглась на нём в маминой цветастой юбке с Эшкиным газовым шарфом на плечах. А он был фотограф. Со стенами пробирался сквозь непроходимую лесную чащу, подкрадывался ко мне – и фотографировал. А фотографии продавал на базаре. Мишенька настоял на том, что фотограф должен быть вооружён пистолетом и саблей. Обнаружив в лесу цветочное ложе, он громко кричал “Ура!” Это меня немножко раздражало – как и рожица свинки, которая выскакивала из объектива его фотоаппарата, когда он нажимал на спуск.

Ещё больше мешали мне умиленные взгляды наших мам и вообще их присутствие. Их нескончаемые утомительные беседы о каких-то неприятных грустных вещах. Эшка только и говорила, что о каких-то покойниках и могилах. С другой стороны, от неё было и главное веселье. Это она позволила нам натащить в дом гору испорченных цветов. Моя-то мама вообще ничего не позволяла приносить с улицы, а эти цветы действительно имели несколько послепохоронный вид. На самом деле их бросали под машину, на которой въезжал в Киев маршал Тито. Первый иностранец, которого я увидела в жизни. Да и большинство взрослых тоже.

Мы жили в бельэтаже и могли созерцать грандиозное зрелище из окон. Комфортно, на зависть народу, толпящемуся внизу. Флаги! Портреты! Милиционеры в белом! Нарядные люди с вытянутыми шеями, с букетами живых цветов, каких не бывает ни на Первое мая, ни на Седьмое ноября. Я была в восторге от этого нового праздника, хотя и не очень-то поняла, в чём он заключается.

В густой толпе по коридору, окаймлённому милицией, медленно проплыли в затейливом порядке белые мотоциклы, а за ними две или три очень красивые открытые машины. В одной ехал стоя толстый военный в светлом мундире, блистающем золотыми бляшками. За ним мне удалось различить ещё двух тётенок, одну – в красном платье, другую – в жёлтом, и, кажется, с цветами в волосах. Я не знала, кто из них “Тито”. Может быть, вообще – все вместе. Я решила, что отныне “Тито” будут встречать регулярно, как Новый год.

Но лучше всего стало, когда улица опустела. По ней ещё долго не ездили машины, и дети свободно бегали прямо по мостовой, собирали уцелевшие цветы, выхватывали розы и гвоздики из-под метлы дворника, скакали, кривлялись, задирали ноги, не знали, что бы ещё сделать с этой немислимой безмолвной цветочной пустотой, похожей на сон. Сны и явь сливались, перетекали друг в друга.

Ночью я услышала историю о принцессе... “Эта принцесса! Выросла в Швейцарии! И не понимает, что ребёнку нужно вымыть ножки перед сном! Что ему нужны витамины, а не сало с картошкой! Он такой хорошенький, такой хрупкий! Как ангелочек! А она его не любит. Ей мой ребёнок больше нравится! Мой муж, мои волосы, моя комната! Я очень боюсь, что у неё дурной глаз. Все время смотрит, во что я одета! Только куплю себе какую-нибудь обновку, она тут же бежит и покупает себе то же самое! Ну просто ужас! Как будто бы я покупаю вещи для того, чтобы её как-то уесть! Ей богу, мне кажется, она эту девочку родила исключительно мне назло! Ей вовсе не нужен был ещё и второй ребёнок! Ведь Арончик всё-таки больной человек! Зачем рисковать? Теперь она смотрит на меня, как победительница! Свысока! Дома никто ещё не знает о том, что я беременна. Но сколько можно скрывать? Я просто боюсь, чтобы она не сглазила!”

А в небе уже стоит огромный чёрный глаз... И глазит, глазит... А вокруг глаза летает птица вправо, влево – вот она-то и есть “Дрозд-Тито”!

Наутро ничего уже нет – ни цветов, ни тёти Эшки, у которой глаза плачут, когда она улыбается, и улыбаются, когда она плачет... Ни мальчика в тубетейке... Но они, несомненно, были, потому что мой медведь, на котором он скакал сквозь леса и горы с саблей и фотоаппаратом наголо, остался без ноги и без уха...

А зимой снова начинают говорить о тёте Эшке. Будто она при смерти... Снова про дурной глаз говорят... Потом ищут для Эшки какое-то лекарство. И очень торопятся, потому что прибыла телеграмма о том, что завтра приезжают старый Лис с Арончиком.

Об этой телеграмме я вспоминаю вдруг у Марьи Ивановны. Вспоминаю – и изумляюсь: как можно было такое забыть? И говорю взрослой девочке Марине, которая уже час измывается надо мной, не позволяет мне раскрасить своими карандашами узор. “Ага! Ага! А к нам сегодня приезжает на поезде старый лис!” Мариночка медленно поднимает голову. Лицо её похоже на скучный зимний день. “Непра-а-вда! Лисы сами не ездят в поезде...” – “А он и не сам! Он с Арончиком!” – отвечаю я и вижу, как запросто сказанное фантастическое слово “Арончик” побеждает Мариночкино недоверие. “Лучше бы лисёнок!” – из последних сил старается она испортить мне удовольствие. “Конечно, лисёнок лучше, – живо соглашаюсь я, – но и лис неплохо. Наверное, Арончик его оставит у нас пожить, – безжалостно дожимаю я Мариночку. – А, может, и совсем подарит. Буду водить его гулять на поводке!” И сама млею, воображая шустрое длинное тельце, низко жмущееся к асфальту, дёргающее то туда, то сюда верёвку в моей руке.

С ощущением этой веревки в кулачке я кое-как доживаю день. Спешу по улице, избегаю по лестнице, распахиваю дверь нашей комнаты.

На диване сидят двое одинаковых, в плоских кепках и костюмах железного цвета... худые и ровные, как гвозди... Я пробегаю взглядом по дивану, под столом, под стульями, по плечам и коленям сидящих и с гибнущей надеждой в голосе спрашиваю: “А где же старый лис?!” – “Я – старый Лис” – отвечает тот, что постарше и пониже, взмахом ладони останавливая воспитательный гнев моих родителей.

На столе уже стоят две банки кизилового варенья. Для папы. Дробить камни в почках. “А это... орехи... Что ещё от нас можно везти! Я забрал то, что было дома. Не успел съездить на базар. Теперь весь дом на мне. Ничего. Скоро едет в Киев Эшкина подруга Тоня – мы ещё передадим!” – “Что вы, что вы! Зачем беспокоиться! У вас такое тяжёлое положение!” Он поднимает руку, перекрывая поток маминой застенчивости. Всё равно Тоня будет жить у нас, всё равно он передаст орехи.

Он не жалуется, он не хнычет. Жизнь идёт, как идёт. Жизнь всегда идёт правильно. Его жена Брайна – пустое место. Его сын всё чаще прячется на чердаке. Его дочь при родах разбил паралич, а у него самого, как выясняется, рак. И хотя киевские врачи разочаровали его, подтвердив диагноз своих провинциальных коллег, он не теряет и знает, что делать. Разумеется, под нож он не пойдёт. Ещё чего! Как он может рисковать, когда на нём держится вся семья?! Вот он для дочки достал в Москве церебролизин через свекровь Маруни, покойной Эшкиной подруги. А сына он показал двум профессорам и ещё доценту-гомеопату. Все их рецепты честно отоварил. Набралось чуть не полчемодана всевозможных коробочек и бутылочек.

Хаим-Шая тут же и приступил к лечению. Строго по часам, сверяясь с подробной шпаргалкой, он заливал Арончику в рот микстуры, выкладывал на его узкую ладонь таблетки и скрупулезно сосчитанные шарики. И так ловко, так уверенно он это делал, так громко и старательно глотал Арончик, так послушно ходил взад-вперёд его огромный кадык, что каждому казалось: вот сейчас, немедленно в состоянии Арончика что-то изменится.

Чего, собственно, мы ждали?.. Что Арончик тут же станет бодрым, весёлым? Запоёт, запляшет? Он ведь вовсе и не казался нам похожим на настоящего сумасшедшего.

Суть этой странной болезни особенно занимала нашего папу. Арончик охотно делился с ним своими ощущениями: “Вот я был человек – и через минуту я уже не человек!” – “Но в чём же это всё-таки заключается? У тебя что-то болит? Тебя что-то раздражает?” – “Нет. Нет. Просто я... ничего не хочу. Есть не хочу. Пить не хочу. Жену, детей. Работать не хочу...”

В доме Арончика ко всем этим рассуждениям давно привыкли. Их воспринимали как один из наименее опасных симптомов его болезни. И только Лёвка в откровениях шурина не

видел ничего ненормального. “Тоже удивил: работать не хочет! Да восемьдесят процентов людей работать не хотят! Мне, думаешь, хочется зимой подниматься в полшестого утра? И жену свою тоже не всякий хочет!”.

Лёвке казалось, что шурина надо лишь что-то объяснить, подкрутить в голове какую-то гаечку – и он тут же станет нормальным. Просто заклинило его, как станок, на какой-то глупости... Но он, Лёвка, найдёт, наконец, нужное слово, и Арончик у него заработает, как смазанный, перестанет вслушиваться в себя каждую минуту, выуживать всякие глупости...

– Вот что, Арончик: ты бы не обращал внимания на всю эту ерунду! Не копался бы в себе!

– Как же не обращать?! – недоумевал Арончик, и глаза его зажигались, как две лампочки. – Как же не думать?! Разве я нарочно думаю?! Вот я держу на руках ребёнка... всё хорошо. И вдруг думаю: “А что, если у меня сейчас сделается инсульт, и я её уроню?” Как же на такое не обратить внимание? Или, например, я брею человека – и вдруг думаю: “А что, если я сейчас помешаюсь – и перережу ему шею?” Тебе хорошо говорить “не обращай внимания!”, а у меня же целый день бритва в руках!

– Ну ладно, – слегка отступал Лёвка. – Тогда уходи домой, бери бюллетень... Но зачем же лезть на грязный чердак?!

Раздражаться-то Лёвка раздражался, но не мог он не видеть, что в страхах Арончика имеется резон. Иногда, сидя в кресле парикмахера, он и сам с трудом отгонял навязчивые мысли о бритвах и беззащитно подставленных кадыках... Тем более что галантная говорливость парикмахеров порой представлялась Лёвке профессиональным заболеванием. И тут Арончик казался ему даже нормальнее других, ибо он-то роль Фигаро играл сознательно и без всякой охоты. Растянув свои тонкие губы в механической улыбке, сверкая глазами самоубийцы, готового выброситься в окно, он произносил: “Муж возвращается с работы... А у жены...” Рассказать что бы то ни было смешно он не мог. Просто от природы не обладал таким даром. Но, с другой стороны, какой нормальный человек мог бы смешно повторить один и тот же анекдот двадцать раз за день...

Что же касается младенца, то Лёвка и сам боялся брать на руки эту пудовую неухватистую девочку. Правда, не потому, что опасался сойти с ума и бросить её на пол... Или уронить, получив в неподходящий момент инсульт. Просто месяцам к восьми Райка так раскормила Людочку, что к ней трудно было и подступиться. Пушечное ядро, а не младенец! Райкина гордость! Райкин реванш!

То есть было так... После Васеньки Райка долго не беременела. Хотя сама она никак не предохранялась, а Арончик, вопреки всеобщим подозрениям, исполнял свой супружеский долг с усердием, достойным уважения. А тут вдруг – такая напасть!

Райка очень расстроилась. Но не потому, что её волновали проблемы наследственности – она о них и думать не думала. Просто ни к чему ей был второй ребёнок.

Делать аборт она побоялась. Роды, конечно, тоже не подарок, но это когда ещё! А на аборт идти прямо завтра. Вдобавок, поразмыслив, она прикинула, что таким образом возвысится в семье над Эшкой. А младенца вырастят и без её особых усилий, как и было уже с первенцем.

Но вышло не так. Конечно, все помогали, все сюсюкали, покупали пинетки и чепчики... Однако же такой нежности, такой привязанности, какую испытывали к худосочному Васеньке, к этому пышному младенцу не испытывали.

А вот в Райке проснулась, наконец, материнская страсть – причём почти нездоровая. Проявлялась она в одном направлении: Райка целыми днями держала ребёнка у груди. Благо молока хватало, хоть купайся, а Людочка готова была целый день сосать. Возможно, от вечного переедания девочка казалась какой-то... заторможенной. Врачи Райку ругали:

– Смотрите, мамаша! У неё вот-вот начнётся ожирение сердца! Смотрите, как она у вас сидит! Шеи не видно, живот колени покрывает! У неё же грудь – вон, как у женщины! Это же ужас!

И действительно, вид был пугающий: сидит на столе для осмотра младенцев крошечная беременная женщина в распашонке... будто насосом накачанная. Вдобавок у Людочки очень рано выросли не по-детски густые и длинные волосы.

Этот младенец вызывал странные мысли и нехорошие побуждения. Младенческие весы для неё не годились, приходилось на обычные стелить пелёнку.

– Видите, мамаша, что делается! – врачи тыкали пальцем сначала в большую гирию, потом в маленькую. – Разве это нормально?!

Райка видела. Тщательно запоминала цифры – и потом ими хвастала. Во всём этом медицинском стрёкоте, в замечаниях знакомых и незнакомых людей она усматривала зависть, одну лишь зависть.

Введенная в заблуждение собственной не вполне обычной физиологией, Райка всегда была уверена, что и Эшка, и Фира только и мечтают забеременеть, но ничего у них не получается. Этими своими злорадными выкладками Райка делилась с соседками, с приятельницами в садике, а те передавали по адресу.

На самом деле всё обстояло совершенно иначе. Бедная Фира втайне от мужа сделала несколько аборт: добряк Нуська очень любил её Петеньку, и Фира боялась, что появление родного ребёнка может разрушить сложившуюся идиллию. Ну, а Эшка, которой очень хотелось родить второго ребёнка, просто решила с этим подождать, пока Лёвка не уйдет со своей пластмассовой фабрики.

Надо напомнить, что Лёвка – не экономист, не технолог и не химик – оказался хорошим руководителем. Он буквально влюбился в пластмассу. Доказывал тестю, что хорошая пластмасса может быть красивее драгоценных камней и уж точно удобнее в работе. В Лёвкиных карманах вечно что-то похрустывало и постукивало, в бумажнике хранился какой-нибудь обломок баянной облицовки или цилиндр из красного плексигласа... С восхищением пятилетнего ребёнка он заставлял всех смотреть сквозь цилиндр на горящую лампочку. “Ну? Разве это не лучше, чем рубин?” Требовал, чтобы собеседница сравнила его обломок со своей перламутровой брошкой или костяной статуэткой. “Вот скажи мне честно: если не знать, что стоит дороже...”

Настоящий отклик находил он в основном у детей. Те были в восторге от Лёвкиных таинственно переливающихся пластинок. Случалось даже, они жертвовали ради Лёвки своими драгоценностями: отдавали ему какую-нибудь привозную финтифлюшку, затейливую пробку, подобранную на улице пуговицу... Лёвка и сам не стеснялся при свидетелях нагнуться за беззубой, гнилой расческой.

Особенно любил он вещи оригинальные и “художественные”. Отуманенный, любовался гребёнкой с цепочкой слоников или с головой ревущего оленя.

– Эх, – горевал мечтательно Лёвка, – чего бы я понаделал, если бы мог сам вылепить такое!

И вряд ли кто-то так же благоговейно цепенел перед какой-нибудь “Пьетой” Микеланджело.

– Это ж целый семейный набор можно было б наделать! Для всей семьи! Одна с оленем, другая – с птичкой, третья – с белочкой! Причём сделать зверя целиком, вот здесь вот передние ноги, вот здесь – задние, а вдоль брюха зубцы. Когда они выломаются, ребёнку останется шикарная игрушка! Но нашим технологам это до лампочки... Вот что их устраивает! – и он с презрением двумя пальцами выкладывал из кармана обыкновенную чёрную точилку. – Нет, чтобы сделать её, например, в виде жучка! И ещё раскрасить! Пусть бы она даже стоила немножко дороже, но разве люди не взяли бы скорее красивую вещь?!

Вообще технологов своих Лёвка не любил и имел на то основания. Поначалу он свято верил всем их высокомерным рассуждениям о поликонденсации и полимеризации, но, пообтёршись, понял, что инженеры зачастую обманывают его, нарочно выставляют дураком: вот, дескать, кого поставили руководить нами, дипломированными специалистами!

Инженерская их зарплата к энтузиазму не располагала. План выполнен – и слава богу. Чёрные точилки кое-как распродают – других-то нет! Зачем же с ними ещё что-то мудрить? Инженеры считали, что Лёвка выслуживается перед начальством по партийной линии.

В конце концов Лёвка стал действовать через их голову.

На его заводе, как и на любом другом, имелся самородок. Валера. По специальности не то литейщик, не то гравёр, Валера мог всё: написать плакат к празднику, открыть без ключа захлопнувшуюся дверь, помочь разродиться столовской старой собаке. Как-то он даже нарисовал по клеточкам портрет Ленина. И хотя своим высокомерием он превосходил любого инженера, Лёвка считал такое поведение вполне обоснованным: перед талантом он благоговел. Особенно нравилось Лёвке, как Валера выставляет напоказ инженерскую ограниченность. “Ну да, модель на двадцать сантиметров здесь не поместится. Но если её разместить вот так... И вот так вот поставить в струбцину...”

На каждую Лёвкину идею Валера отзывался целым салютом идей. Полорманную расчёску с головой ревущего оленя он переформовал и прямо на пресс-форме расточил в ней зубцы. Получилось, правда, не очень удачно: густых волос расчёска не брала. Но напрасно инженеры злорадствовали: покупателям новинка понравилась.

Окрылённый Валера тут же принялся разрабатывать золотую жилу: сам вылепил с какой-то картинки голову воющего волка. Вышло как-то уродливо, но Лёвка не дал своего соратника на съедение инженерам. “Ну да – страшный! А какой же должен быть волк?” Торговля с удовольствием взяла и волка. А точилку в виде лягушки просто-таки бурно приветствовала! На всех выставках, на всех ярмарках получали дипломы, пока не нашёлся зануда, которому не понравилось, где расположено отверстие для карандаша. Написал в газету, что Лёвкин завод намеревался развратить советских детей. Еле замяли это дело...

Вообще-то Лёвка и сам потом изумлялся, как мог не заметить сразу такого неприличия... Впрочем, другого решения технология не позволяла. Нераспроданных лягушек растащили по домам. Это фактически. А по документам их списали и сожгли.

Отходы сжигали за литейным цехом, прямо на небольшой заводской свалке. Эти отходы были главной Лёвкиной головной, а точнее сказать – сердечной болью. Глядя, как превращаются в едкий рыжий дым горы отходов, часто и нехорошо кашляя, он морщился от досады – на зловердных инженеров, которые не могли ни рассчитать необходимое количество порошка, ни найти применение всем этим разноцветным осколкам и обломкам.

Особенно жаль ему было цветной прозрачной пластмассы, из которой делались фигурные основы для комнатных термометров: из синей пластмассы – парусник на волне, из красной – кремлёвская башня, из жёлтой – три пальмы. Эти три пальмы – любимое Лёвкино детище – давали особенно много отходов и брака.

С кем только он ни советовался! Даже с городскими мальчишками, которые приходили на свалку клянчить эти самые обломки: для чего, мол, они нужны. Но оказалось, просто так, для красоты.

И что же? Решил-таки Лёвка проблему! Сам додумался! Вспомнил вдруг, как нашёл когда-то в Одессе на пляже женскую шпильку с нацепленной на неё штучкой в виде цветка. И понял, как спасти добро! Взять и на пресс-форме вокруг кораблика или там башни насадить, где можно, эти самые фитюльки, в которые по проточенным каналчикам будут попадать излишки пластмассы. Умница Эшка подсказала, что, кроме цветочков, можно сделать ещё и бабочек, бантики, жучков – так, чтобы занять пустующие места наивыгоднейшим образом.

Валера взялся за это дело прямо-таки с горячностью. К паруснику он “подсадил” двух очень красивых бабочек и небольшого жучка. А к кремлёвской башне – три маленьких цветка и два бантика. Главное, инженеры поддержали. То есть, поначалу, как всегда, начали юлить: “Во-от, брака будет много, до крайних деталей может не дотечь...” Лёвка только диву дался: “Какая разница?! Пусть хоть одна получится! Это же чистая прибыль! Ни материала, ни затрат на энергию! Такая красивая штучка – и, считай, из ничего, считай, из этого дыма, от которого мы все тут кашляем! А за такую штучку любая женщина выложит двадцать копеек! Да они будут в очереди драться за этими штучками!”

И точно! Лёвкины фитюльки в два счёта стали главным городским сувениром! Официально они назывались “нашпилечник”. Женщины украшали ими узлы и косы. С их помощью в парикмахерских невестам прикалывали фату. Дети вообще сходили по ним с ума. Собирали коллекции! Их посылали в посылках родичам наряду с орехами и кизиловым вареньем.

Да что там! Сам Хаим-Шая положительно отозвался о Лёвкином изобретении и мастерстве Валеры. “А что... – помычал он раздумчиво, перебирая на ладони разноцветные штучки. – Если бы его учить, получился бы ювелир...”

С первого же тиража Лёвка выписал премии всем, кто участвовал в создании нового изделия. По сто пятьдесят рублей. А через три месяца к нему подошла как-то бухгалтерша, Фаня Борисовна, и, опасливо шныряя глазами по углам, протянула конвертик. И Лёвка без особых угрызений совести взял.

К такому повороту он был подготовлен. Уже несколько раз начальник цеха и его заместитель заговаривали с Лёвкой о том, что “нашпилечников” получается несколько больше, чем предполагали поначалу, но обнародовать этот факт пока не следует, поскольку дело это аварийное, ненадежное: сегодня пластмасса такая, завтра эдакая, то две бабочки отливаются, то одна, то вовсе ничего не получается, а им поставят все эти “нашпилечники” в план – и как потом выкручиваться?

Лёвка соглашался с безмолвным добродушием. Доводы были вполне разумные. А главное... Лёвка давно уже изыскивал возможности для каких-нибудь левых заработков.

Дело в том, что мужское его самолюбие было уязвлено: директорская зарплата никак не соответствовала гордому Лёвкиному званию. Не только тесть на своих примусах, но и чокнутый Арончик со своими чаевыми и подработками получал больше. Райка без страха развешивала во дворе простыни и полотенца с чёрными казёнными печатями, мыла детям руки тройным одеколоном, а бриолин, с которым не знала, что делать, расставляла на подзеркальники. Каждый год она шила себе новое пальто. А на Эшке была всё та же шубка, всё те же четыре платья, которые ей справили перед свадьбой.

Лёвка шёл по городу, похрустывал в кармане конвертом и, останавливаясь перед витринами, оглядывал их с внезапно возникшей фамильярностью. О деньгах этих никто не знал, они не входили в сложные Эшкины расчёты, и Лёвка радостно пьянел от возможности истратить их прямо сейчас же, причём шикарно и неразумно.

Сначала он зашёл в гастроном и купил самую большую коробку шоколадных конфет с барельефными вишнями и бокалами на крышке. Потом заглянул в галантерейный магазин. Магазин уже собирались закрывать. Уборщица сметала мокрые опилки, продавщицы смотрели недовольно... Лёвке пришлось пустить в ход проникновенный взгляд и неотразимую улыбку. Оглядевшись, он попросил достать висящий почти под потолком шарф – белый, ажурный, напоминающий морозный узор на оконном стекле. Вблизи этот шарф оказался намного красивее. Он нежно пушился, так что не хотелось выпускать его из рук. Но цена... Даже если бы Лёвка не потратился на конфеты, ему пришлось бы взять часть денег из... “законных”, из тех, за которые он честно расписался в ведомости и которыми сорить не поднималась рука... Но после того, как девушка в нерабочее время карабкалась по стремянке под самый потолок, сказать: “Нет, извините, это очень дорого”... Да и не то было у Лёвки настроение! И шарф этот на милых Эшкиных плечах должен был выглядеть просто необыкновенно.

Эшка высматривала мужа с веранды и ещё издали заметила его взволнованно-победное настроение. Широкими шагами Лёвка проследовал в свою комнату, разворачивая на ходу огромную, как блюдо, коробку. Небрежно сдёрнул с неё шёлковую ленточку, опустил на середину стола и жестом щедрого фокусника снял крышку. Конфеты – целое поле конфет, уложенных в белоснежные гофрированные розетки – оказались слегка подёрнуты сахаристым инеем: видно, давно эта роскошная коробка ждала своего покупателя! Но общего впечатления

это не испортило. Семейство, немедленно заполнившее Эшкину комнатку, протянуло руки, зашуршало бумажками. Запахло настоящим шоколадом.

Старик жевал неторопливо и вдумчиво, будто конфету дали ему на экспертизу, для вынесения приговора. Старуха быстро и бессмысленно переводила добро. С опасливым восхищением прикладывался к конфетке Арончик. Эшка надкусывала осторожно, будто проверяя каждый раз, насколько она испортила такую чудную вещь. Райка целиком запихнула одну конфету себе за щёку, а другую насильно совала в ротик Людочке, которую непривычный вкус смущал. “Вот глупая! Вот дурочка! Ты попробуй! Попробуй!” – булькала сладкой слюной Райка. Мишенька сгрёб, сколько уместилось, в обе руки и поспешил во двор угощать приятелей, а за ним поплёлся Васенька со своей долей, раскисающей в кулачке.

И над всей этой суетой приветливо и надёжно светился шёлковый абажур, прелестный и затейливый, сшитый киевской старушкой-умелицей из зелёного Эшкиного платья. Тёмные углы комнаты он подкрашивал плотной мутной зеленью, которая ближе к центру, играя оттенками, редела и наливалась сиянием.

В этом сиянии вдруг обнаружилось, что на Эшкиных плечах лежит невесомый пухово-снежный шарф. Все даже замерли – так это было неожиданно и так необыкновенно шёл он Эшке. Будто без этого шарфа никто и не знал толком, какая милая, печальная улыбка у Эшки, какой у неё глубокий мягкий взгляд.

Первой очнулась Райка и спросила, где Лёвка купил шарф и сколько он стоит. Лёвка назвал ровно половину цены, но и эта цифра неприятно вытянула лица присутствующих.

– Что за праздник такой? – поинтересовалась старуха.

– Премия, – снова солгал Лёвка.

Старик покачал головой, будто знал всю правду, но не желал вмешиваться.

Эшка портить праздник не стала. Молчала она ещё три месяца. За это время Лёвка успел привыкнуть к левым доходам. Сумма получалась каждый раз новая, она зависела от количества лишних “нашпилечников”. Однажды даже до плана не дотянули. И никак нельзя было отрегулировать, предвидеть, предсказать что-либо наперёд!

Так что материальное положение семьи изменилось мало. Ну, перешёл Лёвка с папирос на сигареты. Стали вместо “одесской” колбасы покупать “краковскую”. У Мишеньки появилась пара дорогих игрушек...

Однако в собственных глазах Лёвка резко вырос. И он никак не хотел терять это самоощущение дельца, человека бывалого, готового на риск ради благополучия своей семьи.

То была их первая размолвка. То есть... не размолвка, но вроде того. Эшка не ругалась, она только плакала. Каждую ночь! И ничем её нельзя было пронять. Протянет Лёвка в темноте руку – так и есть: щека мокрая, волосы мокрые, подушка...

– Ты что думаешь, – шептал азартно Лёвка, – у твоего отца там всё в порядке, с его примусами? Думаешь, он про каждую починку докладывает финотделу?!

– А ты думаешь, я из-за этого не переживала с самого детства?! Думаешь, я не знала, что о нём болтают в городе?! Но ему я не указчик. И тебе, конечно, тоже! Я только прошу...

И снова слёзы...

– Ты что, с луны упала? Не знаешь, что все вокруг как-нибудь мухлюют?! Иначе и прожить нельзя! Думаешь, Фира твоя из больницы спирт не ташит? Уверяю тебя, и Нуська что-то там имеет в своей типографии! Даже Арончик твой... Чаевые берёт, мыло, одеколон носит, списанные тряпки... И можешь не сомневаться – Райка его не плачет по ночам!

– Ну вот! Сравнил! Она же не понимает, что это у него от страха приступы участились! Ей всё равно, что он может попасть в больницу! Или даже в тюрьму! Ей-то что! Сразу же найдёт себе мужика здорового, детей на нас бросит... А я покончу с собой, если тебя посадят. Так и знай!

– Вот дурочка! – умилялся Лёвка. – Ко мне же не подкупаешься! Это же отходы! Мусор! Ни одна комиссия не подсчитает, сколько там на эти штуки пошло, а сколько в

костёр! Государству от этого одна польза! У нас же раньше на этих подставках получалось пятьдесят процентов брака, а сейчас – процентов пять, в крайнем случае – десять! Я думал: вот начну больше зарабатывать, и мы позволим себе завести второго ребёнка...

– Ой, Лёвочка! Как будто ты газет не читаешь! Если им скажут посадить, они уж найдут, за что! Неужели ты хочешь, чтобы наши дети бегали по двору в рваных трусах и ели траву, как Вутины?! Хочешь второго ребёнка – пожалуйста, но тогда прекращай сейчас же любые махинации! А ещё лучше – уходи с фабрики! Их там уже не остановишь. Всё равно будут жульничать тайком от тебя. А отвечать тебе придётся, вот увидишь! Скоро возьмутся за все эти дела и пересаживают виновных и невиновных.

Однако же Эшка забеременела ещё до того, как Лёвка поменял работу. И сломила её упорство не Лёвкина настойчивость, а собственное уязвлённое самолюбие. Соседи передали Райкины слова, что-де Эшка так возится с её, Райкиными, детьми, поскольку собственных детей у неё больше не будет. Это, мол, у них порода такая плохая, хилая – и у Эшки, и у Арончика. Вот и Васенька, бедный, в них пошел. Хорошо хоть с дочерью ей, Райке, повезло! Ребёночек, нивроку, всем на зависть, оттого они к ней и придираются – то Эшка, то Фира.

Но как же было не придираться, ежедневно наблюдая Райкино специфическое воспитание? Особенно вспыльчивой Фире. Глядя, как Райка заталкивает в крошечный рот ребёнка немислимые порции еды, она кричала через весь двор: “Что же ты делаешь? Не мучь, не губи дитя! Ты ж сама не съешь пол-литра кефира!”

Надо сказать, что Фира была совершенно права. Казалось, Райка только тем и занята целый день: кормит. Причём, смотреть на это было не только противно, но и стыдно, будто наблюдаешь какое-то извращение, похабный акт.

Маленький пузатый идол, с лицом, неподвижным от жира, восседал среди двора на горшке. Рядом на лавке, спиной упираясь в ствол ореха, сидела Райка с глубокой тарелкой на коленях. С нездоровым удовольствием Райка отщипывала кусочки от свежей французской булки, обмакивала в плохо разболтанные яйца и, не дожидаясь, пока оборвутся сопливые нити белка, запихивала в рот ребёнку. Вокруг с бескорыстным интересом, словно рой мух, ходили тощие, в перекрученных дырявых трусах, невесть чем замурзанные Вутины дети, упорно признающие Райку своей тёткой. Прикончив булку, Райка с пугающим хлопком отрывала горшок от Людочкиного зада, бугристого, потного, с малиновым кольцом, утирала зад клочком мятой газеты, затем, не ополаскивая рук, добывала из-под растянутой кофты собственную, тоже впечатляющую грудь и совала Людочке. Между прочим. Как безделку. Не прерывая разговора с соседками.

О чём велись эти разговоры, было понятно и так, без всяких сплетен. Райкино мнение ясно читалось на её лице. И на Фиру, и на Эшку она постоянно смотрела вызывающе-победно. Вдобавок ещё и Арончик норовил что-то такое изобразить... Снисходительное...

И вот все эти взгляды, все эти улыбки и намёки сделали то, чего никак не мог добиться от жены Лёвка. Чего с самой войны не допросился робкий, деликатный Нуська.

Лёвка о такой странной борьбе самолюбий, разумеется, не догадывался. Он решил, что сумел, наконец, уговорить жену, и был поначалу совершенно счастлив. А потом вдруг испугался. Полезло в голову всякое... Эшка беременная... ей нельзя нервничать, волноваться... Стоит ли вся его фабрика Эшкиных слёз? Ещё и на ребёнке это может, не дай бог, сказаться... Хватит с них и Арончика!

Лёвке захотелось даже с кем-то посоветоваться. Выбрал он для такого случая Нуську.

После женитьбы Лёвка и сам не заметил, как отдалился от брата. Вроде бы и забылось его неуклюжее вмешательство в Нуськину личную жизнь, вроде бы и виделись почти каждый день... Фира с Эшкой всё делали вместе. Шили, варили варенье, даже книги читали одни и те же. Все праздники вместе справляли... Но в какой-то момент Лёвка вдруг понял, что Нуська

для него прежде всего Фирин муж. Случалось, они сидели вместе на лавочке, обсуждали матч, но так же можно было посидеть и с любым соседом. Когда Нуське вырезали аппендицит, Лёвка ходил к нему в больницу, честно беспокоился, но с изумлением сознавал, что куда больше его волнуют припадки Эшкиного Арончика.

Приняв решение посоветоваться с братом, Лёвка пребывал в некотором замешательстве. Почему-то он не мог просто так подойти к Нуське и поговорить о том, что его волнует. Искал какого-нибудь подходящего повода.

Но вышло так, что Нуська подошёл к нему первый: оказалось, что и у него есть проблема, которую он хотел бы обсудить с братом. Причём заметно было, что Нуське тоже трудно начать разговор.

– Послушай, Лёвка... – Нуська так старательно разминал папиросу, что она, наконец, переломилась. – Арончик... у него... всё в порядке? Я не голову имею в виду... а... ну... по мужской части...

– Дай бог тебе не хуже! – отрезал Лёвка. – А что тебе до этого?!

– Да так... – продолжал мямлить Нуська. – Это он сам тебе сказал?

Лёвка поморщился со снисходительной досадой.

– Я ни у кого про такие вещи не спрашиваю! И вообще – почему тебе это интересно?

– Мне? Мне до него тоже нет никакого дела! Просто Райка его... Ну... не то что пристаёт... Она за мной следит. Наверное, в окно подсматривает, когда я иду в уборную. Понимаешь, когда бы я ни выходил из кабинки – она уже тут как тут! Стоит в проходе, а там и с худым человеком трудно разминуться! И хоть бы повернулась как-то боком, что ли, спиной! Нет! Обязательно ты должен пройти по её дойкам! Оно мне надо?! Просто интересно, это она так со всеми или только со мной? К тебе она не пристаёт?

– Ещё чего! – рявкнул Лёвка. – Пусть бы попробовала! Я бы ей так лянул по жирной ряшке! Так бы двинул коленом по заднице, что она бы забыла, как её зовут! Боялась бы подойти к уборной, пока я на работу не уйду!

Если бы Лёвка умел анализировать свои мимолётные порывы и глубинные побуждения, он бы понял, отчего вдруг с силой захлопнул портсигар и откуда это сверлящее недовольство собой. Понял бы Лёвка, что отчасти задело его предпочтение, отданное женственному кудрявому Нуське. Но главное, главное – как-то слишком азартно пинал он Райку в своём воображении... И туда! И туда! Со злостью! В жирное упругое тело...

Что делать! Милая, трогательная Эшка пробуждала в широкой Лёвкиной натуре лучшие его качества: чувствительность, романтизм, мужественную надёжность – и многое, многое другое!

Но было в Лёвке и ещё кое-что... Жадный замах, жизнерадостное любопытство к смешным сторонам бытия. Нет, Эшка понимала юмор... У неё был чудесный заразительный смех. Но совершенно немислимо было пошутить при ней по-флотски. Лёвка отводил душу на работе, вгоняя в краску своих преданных бухгалтерш и секретарш, очаровывая солёной фразой девушек-штамповщиц, которые, перекрикивая буханье и лязг, передавали по конвейеру его поговорки и отдельные словечки.

Всё это, включая перенятый у них подольский деревенский выговор, Лёвка оставлял на работе, как спецодежду. За ворота фабрики не выносил. При этом Лёвка никогда не подлаживался, никогда не бывал неискренен. Нужный тон он брал в любом обществе совершенно произвольно, бессознательно, и это, конечно, был дар, одинаково ценный и для руководителя, и для семьянина.

Эшкина нежная уютная фигурка, Эшкин тихий голос... Просто немислимо было ущипнуть её или шлёпнуть! А натура Лёвкина требовала всё-таки ущипнуть... Причём рядом постоянно вертелась Райка, будто для того только и созданная! Главное, в этой квартирке, в тесном пространстве, разгороженном двумя фанерками, просто невозможно было соблюсти все приличия! То розовая ляжка мелькнёт между чулком и резинкой панталон, то распахнётся плохо застёгнутый халат, то дети не вовремя откроют дверь...

К такого рода неприятностям Лёвка относился легко, даже если казус происходил с ним лично. Сразу забывал, а, вспомнив случайно, прыскал со смеху, как от пришедшего на память анекдота. Кстати, вспоминалось подобное почему-то именно в тех случаях, когда это было особенно неуместно! На каком-нибудь партсобрании. На конференции. И дела ведь разбирались нешуточные! Повсюду вредители... Отравители какие-то... Горькому, оказывается, занавеси ртутью перепачкали! Жданова залечили! В Жабунёвке бросили в колодец ампулы с полиомиелитом и там десять детей заболело... Кто его знает! Может, и вправду... А тут как раз у Лёвки ребёнок неизвестно с чего третий день температурит... И секретарь обкома партии посматривает на Лёвку с такой подчеркнутой пронизательностью, что невольно приходят на ум родительские рассказы о погромах...

В общем, веселиться особо не с чего... И тут вдруг перед глазами встаёт ясно, как кадр из кино, пухлая белая задница, метнувшаяся прочь от ведра! “Что это вам так весело, товарищ Школьник? – ядовито напускается на Лёвку секретарь. – Может, и нам скажете?! Может, и мы посмеемся?!” – “Да я так... ничего особенного...”.

А действительно, если подумать – что ж тут особенного? Почему женщина должна тащиться по такому морозу в уличный сортир?

Короче, Райку Лёвка не осуждал. Но при этом он с гордостью осознавал, что Эшка бы на её месте... повесилась.

Надо сказать, что щепетильность Эшки была действительно чрезмерной. Лёвка даже белья её не знал! Переодевалась Эшка за специально приспособленной дверцей шкафа. После стирки развешивала свои дамские мелочи так, чтобы они были со всех сторон загорожены крупными вещами. Зато уж Райкин интимный гардероб был досконально известен не только домашним, но и всему двору. Прямая, резкая Фира не раз отчитывала её и за жёлтую пуговицу, чёрными нитками пришитую к белому лифчику, и за дырявые трико, растянутую резину которых Райка укорачивала с помощью вытянутых наружу петель с узлами. “Люди же не знают, чьё это! Могут подумать – моё или Эшкино!”.

Эшкино! Ещё чего!

Пробираясь по сплошь завешенному двору, Лёвка кланялся мокрым Райкиным штанам, как старым знакомым. С некоторым даже одобрением... Был в этой живописной анархии какой-то вызов. Наглое утверждение своей независимости.

Что же касается платьев, обуви, пальто – всё это выглядело вполне опрятно. Постепенно Райка перестала даже слепо копировать Эшкины наряды. Но что-то Эшкино успело всё же к ней пристать. Что-то неопределимое, но явно облагораживающее. Казалось, она поумнела... А может, так оно и было. Трудно сказать. И уж точно – она похорошела. Не настолько, чтобы можно было употребить слово “красота”, но достаточно для того, чтобы старый Лис стал посматривать с тревогой на свою пышную невестку, когда она, надушенная и подкрашенная, выходила из дому.

Лёвка все эти перемены заметил только после упомянутого разговора с братом. И впервые понял беспокойство старика. Действительно: что такого уж хорошего имела Райка? Теснота... Дети, горшки, примусы, старики в проходной конуре... На каждый твой шаг – десять свидетелей. И халва давно уже перестала быть для неё праздником. И давно уже она не гордилась тем, что вышла замуж за “хозяина”. Тем более что у Арончика – хоть и верно оценил Лёвка его объективные мужские качества – не было ни обаяния, ни подхода к женщине... Только и знал, что оборонял от всех своё сокровище! Набрасывался ни с того, ни с сего – то на родных, то на соседей... Тощий. Коротконогий. Невероятно прямой. Везде он торчал не к

месту, как случайно забитый гвоздь. В этой своей вечной кепке...

Но сознательно тяготиться супругом Райка стала только тогда, когда случилось несчастье с Эшкой.

До того мир для Райки выглядел вполне гармонично. Раз Эшка умнее, красивее и имеет ответственную работу – то и муж Эшкин должен быть лучше, чем у неё, у Райки. Но после того, как Эшка заболела, гармония мира нарушилась. Райка не понимала: почему такой красивый здоровый мужик, директор завода должен теперь принадлежать беспомощной калеке?! Пусть даже он в каком-то смысле и был виновником случившегося.

Казалось бы, вторые роды должны быть легче, чем первые. А вот ведь... Мишеньку Эшка родила за каких-то два-три часа, без всяких осложнений. Поэтому Лёвка никак не готов был к тому, что произошло на этот раз. Больше суток ходил он под окнами роддома, слушал слабеющий Эшкин крик. Требовал сделать кесарево сечение, но врачи отвечали, что время для этого уже упущено. Что Эшка сама отказалась от операции. И вообще – халатно вела себя во время беременности...

Лёвка курил на сырой холодной лавке и внутри у него всё выворачивалось дыбом от возмущения. Как он мог такое допустить?! Какие радости, какие блага жизни стоили такого риска, такой страшной расплаты?! С досадой и недоумением выслушивал он осторожные предупреждения врачей о том, что в случае чего им придётся жертвовать ребёнком. Лёвке было плевать на ребёнка! Кому он нужен после такого, этот ребёнок?! Ему хотелось одного: чтобы смолк, наконец, тоненький крик за окнами второго этажа. И когда этот крик действительно смолк, Лёвка в состоянии был понять только одно: никто не говорит ему, что Эшка умерла. Всё остальное были пустые слова: “четыре килограмма”, “инсульт”, “пуповина”, “девочка”, “центр речи”, “пятьдесят один сантиметр”, “паралич”. Лёвка их просто не понимал.

Это уж потом до него дошло, что, собственно, случилось. Да и то не вполне. Отчаяться Лёвке не дала безграмотность. А, может, предчувствие. А, может, оставшаяся с детства уверенность, что уж он-то, Лёвка, как-нибудь выкрутится из любой холеры, от которой другие умирают.

В первые минуты больше всего он испугался неизбежной встречи с Эшкиным отцом: не бросится ли старик с проклятиями на Лёвку. И Лёвка готов был малодушно, как нашкодивший пацан, свалить вину на несчастного младенца. Ему даже видеть это дитя не хотелось. Но когда ему вынесли девочку... страшненькую, с тёмным личиком и мутными светлыми глазками, с покаянно выпяченной нижней губой, которая при дыхании по-старушечьи двигалась взад-вперёд... Когда увидел он крошечные уши, которые показывались по очереди, когда младенец корчился, будто от неуютя, в линялых больничных пелёнках... Такую он жалость вдруг испытал! Не могла с ней сравниться никакая любовь.

И никак не проходила у него эта жалость... хотя ребёнок-то ни в чём не был ущемлён. Старуха вполне справлялась с пелёнками. Помогал Хаим-Шая, примусный бизнес которого оставлял всё больше свободного времени. Двухмесячная Фирина Светочка не справлялась с молоком, которое постоянно переполняло грудь матери, так что не было даже одолжения с Фириной стороны – это маленькая Маруня спасала её от мастита. В случае особой надобности всегда могла выручить и Райка, добродушная копия которой была даже рада получить вместо материнской груди тарелку жаркого с картошкой и солёным огурцом. Можно сказать, существовало нечто вроде соревнования за право считаться молочной матерью младенца.

При всём при том Райка вовсе не была привязана к маленькой Маруне. Пожалуй, по-настоящему она и к своим детям не была привязана. Только к Мишеньке. Видно, Райка, будучи нянькой, истратила на него всю отпущенную ей способность любви.

А, может, дело было во взаимности: Мишенька обожал свою глупую нетребовательную няньку. Он вообще был очень любвеобилен, и любовь его была шумной, незастенчивой, благодарной. Мишенька восхищался Райкой, её причёской, брошками, пением, стряпнёй. По утрам искал её, чтобы поцеловать перед уходом в детский сад или в

школу. Считал необходимым докладывать ей обо всех своих новостях и проблемах. И Райка, вообще-то враждебная к образованию и культуре, с интересом, пусть и чуть снисходительным, выслушивала и содержание детских фильмов, и сказки, которыми Мишенька, едва научившись говорить, стал развлекать свою Арину Родионовну. Райка слушала и про “Мёртвую царевну”, и про музей Ленина... Выставляла на буфете корзиночки и кораблики с парусами, которые Мишенька мастерил для неё к Восьмому марта. Она понимала, что так не любил и никогда не будет её любить ни один человек на свете. Ни Васенька, жмующийся по углам на манер своего сумасшедшего отца, ни задавленная едой Людочка.

Вместе с тем, поставь кто-то Райку перед выбором: кого спасать? – она, несомненно, спасала бы своих.

Ещё более противоречиво было её отношение к Эшке. Сказать, что она уважала Эшку, было бы слишком просто. Райкин жизненный нахрап, с его весельем, недовольством, жадностью, в присутствии Эшки будто замирал, останавливался – и опадал, как волна. Только перед Эшкой она могла испытать что-то вроде стыда или раскаяния. При этом Эшке она никогда не завидовала, признавая за ней не только право иметь лучшего мужа, но и право иметь лучшего ребёнка, лучший примус, более удобный столик на веранде... Только Эшке она никогда и ничего не хотела доказать.

И вдруг... Именно тогда, когда Эшкина жизнь повисла на волоске, когда Эшка должна была вызывать лишь жалость и сострадание, Райку разобрала мрачная суетливая зависть. И чем хуже были новости из больницы – тем сильнее Райку разбирало! Исхудавший Лёвка... без следов обычной игривости во взгляде... едва забегает в дом, чтобы подхватить со стула свёрток с белым халатом, со стола – термос с бульоном и бутылку морса. Не перекусив, не взглянув на детей, бежит в больницу и до самой ночи сидит возле женщины, которая не двигается и ничего не говорит. В то время, как она, Райка, молодая и цветущая, варит суп для этого гундосого молчуна, который снова засел на чердаке и только светит оттуда своими запуганными глазами! Лучше бы он вообще не открывал своего плаксивого рта! У него, видишь ли, “сестра при смерти”! У него “отец болен раком”! Мало ли у кого отец болен! Так что, всем на чердак залезать?! Рак-шмак! Уже год у него этот рак – и никак он не сдохнет! Если у тебя нет наследства, чтобы оставить детям, нет никаких кладов – так хоть площадь освободи! Поставили бы там плиту нормальную, газовую.

Райка давно начала подозревать, что у старика нет никаких кладов, а тут уж убедилась окончательно. Был бы клад – старик немедленно растранижил бы его на врачей и на лекарства для Эшки. Не стал бы одалживать деньги по всей улице, не повыдирил бы золотые коронки у себя и у старухи... И ради чего?! Ради гранатов и апельсинов, сок которых, судя по рассказам, весь попадает на подушку. Небось, если бы это она, Райка, лежала вот так без сознания, никто не стал бы ради неё выдирать себе зубы! Ради неё не стала бы Марунина свекровь добывать лекарство в Кремлёвской больнице, да ещё тащиться среди ночи на вокзал передавать его с проводником! А её олух? Разве что залез бы к себе на чердак! Не бегал бы в больницу с пелёнками, не поил бы её соком с ложечки! Не таскал бы подарки врачам – и те спровадили бы Райку живую на кладбище, лишь бы место побыстрее освободить для следующего!

Подарки врачам Лёвка действительно таскал. И не только врачам, но и медсестричкам, и няням. Хотя и относился к ним ко всем с неосознанной враждебностью. Оскорбляло Лёвку их сочувствие, их чрезмерная доброжелательность – именно к нему, к здоровому, а вовсе не к больной Эшке.

Конечно, вслух они восхищались Лёвкиным благородством. Но про себя каждый удивлялся: с чего это крепкий, видный Лёвка выбрал себе такую маленькую, невзрачненькую? А теперь вот убивается за нею... Не понимает, что ждёт его, если она всё-таки выживет! Делать-то – делали всё как надо. Но с тайным медицинским цинизмом, со

скрытым желанием, чтобы всё поскорее кончилось. Как ради самого наивного Лёвки, который может ещё найти хорошую женщину, добрую мачеху для своих детей, так и ради Эшки. Ну что у неё впереди? В лучшем случае годы беспомощного прозябания. Без движения, без речи... Обуза для себя и детей. Муж-то не железный: покрутится, покрутится – да и найдёт другую.

В общем, врачи разумно предпочитали “худший” случай. Так и эдак старались подготовить Лёвку... Но Лёвка не поддавался. Тщательно подавляя раздражение, он доказывал медикам, что точно никто ничего знать не может. Что, мол, и тестю его ещё год назад велели срочно прооперироваться, а то и месяца не протянет – и вот он живёт себе! И до ста ещё проживёт! И Эшка как-нибудь выкарабкается! И вообще: если бы они знали Эшку до болезни, они бы сейчас не делали ему таких прозрачных намёков. От них требуется одно: сделать так, чтобы Эшка осталась жива. А уж какая там она будет – парализованная или с повреждённым умом – это уже его, Лёвкина, забота.

По правде сказать, Лёвка мечтал тогда только об одном: чтобы к Эшке вернулся осмысленный взгляд. Без этого мягкого тихого взгляда Лёвка вдруг почувствовал себя бездомным. Комната, которую он до того так любил, которой так гордился, стала неудобной и выстывшей. Каждый раз, открывая свою дверь, Лёвка пугался. Вздрагивал, когда зажигалась лампочка под зелёным абажуром.

Теперь Лёвке казалось, что он всегда чувствовал этот взгляд – не только душой, но и кожей. Что взгляд Эшкин заполнял пространство, как... лёгкий пар, как тёплый весенний воздух, проникающий из открытого окна. Лёвке даже в самом себе чего-то недоставало без этого постоянного ласкового одобрения.

Разумеется, ничего такого он не мог высказать даже про себя – тем более объяснить кому-то. Он просто говорил тем, кто пытался ему обрисовать, скажем так, неизбежные перспективы: “Меня вполне устроит, если у Эшки останется только половина её ума. Это и так будет больше, чем у всех, кого я знаю”.

Всё это Эшка слышала. Тщетно пыталась хоть как-то сообщить окружающим, что понимает их разговоры.

Простодушные нянечки, нанятые Лёвкой, обмывали её, как труп, задержанный в палате для неизвестных надобностей. Ворочали без уважения, попутно обсуждая Эшкину внешность и безнадёжное состояние. Завистливо восхищались Лёвкиной преданностью – по их мнению, исключительно еврейского свойства. Спорили, как для него лучше: поплакать сразу или, наоборот, сперва хорошенько помучиться, чтобы потом было не так жалко.

К телу Эшкиному начинала возвращаться чувствительность. Однако о том, что они делают, она знала скорее с их слов. Её качало, опасно поворачивало... то ли на волнах, то ли в воздухе... Сознание стремилось устоять, утвердиться в пространстве, и, сопоставив всю доступную ему информацию, остановиться на том, что никуда Эшка не летит, не парит тяжело в воздухе. Что ей всего лишь меняют рубаху.

Эшка пыталась как-то вернуться в своё тело, овладеть лицом, рукой. Ей казалось, что это усилие не может быть совершенно незаметным. “Смотри-ка, смотри, – сказала как-то одна из санитарок. Эшка почувствовала, что над ней склоняются, что усилия её, наконец-то, замечены и поняты... – Прележень, что ли?” – “Ага... И не то ещё будет...” И представлялись они Эшке такими могущественными! Будто всё это было в их руках, будто они-то как раз и решали дальнейшую Эшкину судьбу...

А чего стоили обходы! Профессор, любующийся своим интеллигентным баритоном... Его пространные объяснения, вопросы... Ответы студентов... то смелые, бойкие, то неуверенные, трусоватые... Ошибки, вызывающие у товарищей смех, а у профессора вспышки остроумия. “Эдак, батенька, она у вас ещё и...” Будто Эшка не человек, а экспонат, наглядное пособие.

Но было и другое. Вот ведь как получается в жизни! Конечно, Эшка знала, что муж её любит. Он и на похвалы не был скуп, как некоторые мужчины. И однако за всю свою жизнь Эшка не услышала бы о себе столько добрых слов, сколько за недели своего мнимого беспамятства. Она, конечно, догадывалась, что Лёвка за глаза хвастается ею, но чтоб настолько... Заливая по капельке в рот Эшке гранатовый сок, он рассказывал няням, врачам, соседкам по палате, их мужьям о том, как Эшка тому помогла и того выручила из беды одним лишь своим дельным советом. Что не выйди она замуж за него, за Лёвку – кончила бы юридический в Москве и уже гремела бы на всю страну! Что жена она невиданная! Что с нею каждый день – праздник! Что чужие дети любят её больше, чем собственных матерей, потому что многие матери имеют привычку срывать на них, невинных, все свои неприятности и разочарования. И какая она при этом скромная, деликатная! “Всегда держится в тенёчке!” И какая у неё улыбка, какой необыкновенный взгляд! “Будто она не смотрит на вас, а гладит вас этим взглядом, как... как ребёночка своего больного!” “А вы бы видели, как она танцует!” “Поверите, нет её – и в доме пусто, возвращаться туда не хочется! Как будто даже лампа хуже горит”.

Эшка слушала – и от благодарности плакала... Про себя. Она-то о своей особе была самого скромного мнения. Внешность свою определяла словом “ничего”, считала себя добросовестной работницей и приличной хозяйкой, не более того. Эшке даже страшновато иногда становилось: как ей дальше вести себя с мужем – после того, как он столько всего наговорил?

Эшка решила так: если она выздоровеет, лучше всего будет притвориться, что ничего такого не слышала. Просто станет для Лёвки ещё больше стараться. Чаше стирать. Окна мыть каждую неделю... Возьмёт у Фиры кулинарную книгу и перепробует все рецепты... Станет одеваться понаряднее и красить губы, раз уж ему это нравится...

Лёвка сидел рядом, а Эшка лежала и мечтала о встрече с ним. В неподвижном её теле что-то непрерывно напрягалось и трудилось, будто душа Эшкина стремилась заново занять своё прежнее место, наполнить его собой, как рука наполняет перчатку. Происходило это не постепенно, а как бы рывками. Вот вроде бы только что колебались перед глазами какие-то неустойчивые пятна – и вдруг... что-то как бы остановилось... проявился светлый угол... темная перекладина... ещё одна, вертикальная... Окно, что ли... А вот что-то царапает и щечочет подошву правой ноги...

Эшка барахталась, Эшка, как заблудившаяся девочка, выбиралась из дремучего хаоса болезни и слышала, как все вокруг восхищаются “кремлёвским” лекарством.

Один Лёвка не находил в происходящем ничего чудесного. Спокойно, как нечто положенное, выслушивал он очередную добрую новость. А сам не ходил – летал на крыльях! Из дому – на работу, с работы – в больницу, снова на работу, снова в больницу! А тут ещё весна! И тоже какая-то внезапная, рывками! В субботу шёл снег вперемешку с дождём. На обочинах и в подъездах темнела грязная ледяная кора. А за воскресенье город на глазах посветлел, асфальт просох, как сукно под утюгом... В понедельник Эшка стала следить глазами! В четверг – повернула голову. В субботу – сжала Лёвкину руку.

К началу лета Эшка была уже дома. Сидела под орехом на стульчике, с пуховым шарфиком на плечах, слушала, как заботливо шелестит над нею листва, покачивала коляску. Читала. Левая рука отходила медленно. Белая, неподвижная лежала на коленях. А правая хлопотала вокруг: то поправит что-то в коляске, то страницу перевернёт, то возьмётся тренировать “болящую”, тереть её, разминать пальцы... И смотреть на это было не тяжело, а даже как бы забавно. Милая такая хлопотунья, которая старается вялую, ленивую взбодрить, приспособить к делу, заставить её что-то взять, удержать небольшую тяжесть...

Тут же со своей коляской сидела Фира. Тут же Райка то кормила, то шлёпала огромную, как подушка, Людочку. Из соседнего двора приходила со своей коляской подруга

детства Тоня, недовольная своей хилой девочкой, своей вялой, немолочной грудью. Иногда к ним подсаживались ещё две-три молодых мамыши.

Очень много детей родилось в тот год! Сразу после войны нарожали, а потом как бы приостановились. А тут будто все разом снова надумали – как пошло, как пошло! И по большей части девочки, в чём видели добрый знак. Сидели в тени под орехом, будто в беседке, и рассказывали друг другу, кто как носил, кто как рожал. У кого как схватки начались, и сколько длились, и где отошли воды, и как лежал ребёнок, и кто дольше мучился, и кому сколько наложили швов... Причём, даже подвирали слегка, по-рыбацки. Вутина жена, например, очень гордилась тем, что её Леночка обмоталась пуповиной три раза и чуть не задохнулась. У Фиры был самый тяжелый мастит и чужие маститы она просто презирала. “Тридцать восемь и пять – разве это мастит?! Вот у меня, девочки...” Войдя в особый раж, она могла даже показать приятельницам “живое мясо” слева от соска. Тоня хвастала тем, что ей наложили восемь швов. Обижалась и доказывала своё, когда ей напоминали, что раньше она говорила – шесть.

Бедная Райка и тут была ущемлена. Она даже жалела, что рожала быстро и без всяких осложнений – так что и вспомнить нечего. Но больно-то ей было! И не верилось, что кому-то из этих хвастух могло быть больнее. Разве что Эшке. Снова-таки Эшке! Да, Райка, хоть это и невероятно, и тут завидовала ей. Уж кому-кому – а Эшке было что порассказать!

Эшка и рассказывала. Без преувеличений, спокойно и даже с долей юмора по отношению к себе, к Лёвке. Смешнее всего были её воспоминания о том, как Лёвка не мог дожидаться, когда к ней вернётся речь, и неизвестно из каких соображений притащил в больницу Мишенькин букварь. Тыкал пальцем в чёрные буквы: “Ну, давай, прочти, что здесь написано. Ну! Ма-ма!”

– Мне так обидно было! – улыбалась растроганная Эшка и удерживала мизинцем готовую скатиться слезинку. – А всё равно смешно!

Мягкая Эшка после болезни стала ещё тише, ещё нежнее. За каждую мелочь благодарила сто раз и так трогательно, что хотелось ещё что-то для неё сделать. Старый Лис, бывало, посмотрит на дочь и так головой мотнёт, будто потерял от жалости дар речи.

А Лёвка... Лёвка сам на себя удивлялся. Кажется, даже в лучшие их времена, весёлые, беззаботные времена, с бутербродами и ежедневными танцами, не любил он жену так сильно. Точнее сказать – никогда прежде не был он настолько счастлив! Спешил домой, как мальчишка, неделю назад женившийся! Будто дома какой-то праздник!

Кстати, и новая работа нравилась ему. Лёвку ценили, не насмешничали за его спиной. О былом своём директорстве он не горевал. В пластмассах разбирался даже лучше, чем от него требовалось. Он и в зарплате потерял не очень-то много. Просто наодалживал у всех, пока Эшка болела, а теперь приходилось выкручиваться, экономить.

Возвращаясь с работы мимо витрин с неприступно дорогими вещами, Лёвка досадливо морщился. Так хотелось побаловать жену! Цокал языком, вспоминая тот единственный случай – с шарфом и конфетами... Прикидывал, сколько всего мог бы вот так, легкомысленно, закупить Эшке, если бы она не заставила его уйти с пластмассовой фабрики. Другая бы, наоборот, требовала всё больше и больше. Не теряла бы аппетит оттого, что муж рискует свободой ради красивых финтифлюшек. А его Эшке ничего не надо! Только бы он поскорее пришёл домой! Сидит себе там на стульчике под орехом в сереньком физкультурном костюме, с пушистым шарфиком на плечах... Смотрит на ворота. И как только появится в воротах Лёвка – так и засветится вся, будто он с фронта вернулся, с разведки. Так и потянется вся навстречу!

Если бы не люди вокруг, Лёвка бросался бы к ней со всех ног, ей богу! У него такое чувство было, будто он заново встретился с Эшкой и заново её завоевал.

Как ни странно, но радостей в его жизни действительно стало больше. Каждый день ждал его какой-нибудь сюрприз! Вот она кулачок начала сжимать. Вот ногу на ступеньку поставила. Вот уже и к делу приспособилась: сидит, крупу перебирает! Ложки-вилки содой

перечистила – никогда раньше они так не блестели! Вот уже и причёсывается сама, заколки научилась застёгивать одной рукой. Штопать! Снова начала вышивать на пальцах гладью!

Лёвка сам перебил ей на жёлтый сатин розы с конфетной коробки. И так у неё всё красиво, так ловко получалось! Старик набил на стол специальные бруски, чтобы держались пальца. Сначала ей нитки в иглу вдевали подружки, а потом она и сама наловчилась: вколет иголку в дерево – и аккуратно так введёт в ушко наслонявленный кончик нитки...

Столы, подоконники драит. Больную руку к тряпке прицепит и возит её туда-сюда: пусть тоже трудится! Как-то пришёл Лёвка с работы и глазам своим не поверил: она полы вымыла! Мишенька ей воду носил по полведра. Потом и сама стала носить. Лёвка ругался: “Ты скажи мне, куда ты спешишь?! Без тебя некому принести воду?! Некому выбить половики?!”. А сам так восхищался, так гордился ею! И хвастал, хвастал больше, чем прежде! Благо, на новом месте всем это было внове. Таскал на работу Эшкины вышивки. Даже в командировки с собой брал!

На новом месте тоже приходилось разъезжать. И не в какой-нибудь Хмельник, Житомир... То в Прибалтику, то в Среднюю Азию! Повсюду демонстрировал васнецовскую “Алёнушку” с недовышитым лицом. Так и не появились в продаже нитки нужного оттенка, а Эшка не желала повторить промах, допущенный с “Тремя богатырями”.

Особо симпатичным ему людям показывал ещё и фотографию грустно улыбающейся Эшки, склонившей головку к плечу, к пушистому ажурному шарфу. На закуску полагался любительский снимок: Мишенька во дворе у ступенек веранды держит за ручку маленькую Маруню. И так при этом Лёвка смотрел, будто оказал вам немислимую честь и готов подхватить вас, когда вы покачнётесь от восхищения...

По правде говоря, от фотографий в обморок никто не падал. Обижать Лёвку не хотели, но искренне хвалили только “Алёнушку”. Вышивала Эшка действительно мастерски.

Оказавшись в новом городе, Лёвка прежде всего отправлялся по галантерейным магазинам. Всё мечтал набрести на место, где обнаружатся в изобилии самые тонкие оттенки. Воображал, как он вывалит гору мотков перед Эшкой, как она заахает от восхищения...

Смешно, но он и сам полюбил нитки. С удовольствием расправлял для Эшки мотки, сплетал из них толстые разноцветные косы. Эти нитяные косы, перекиннутые через шею, нравились Лёвке больше любого ожерелья. А как грациозно Эшка прижимала косу подбородком к ключице, чтобы вытянуть здоровой рукой нужную ниточку!

Конечно же, никакая фотография не могла передать эту грацию. Так что снисходительные прибалты, хотя и кивали одобрительно, но наверняка про себя думали: “Ну, симпатичная женщина, ну, неглупая... Но Лев Григорьевич, несомненно, мог бы и покруче найти”.

Обаяния же Лёвкиных детей фотографии и вовсе не передавали. Живой, ласковый Мишенька, на лице которого непрерывно сменяли друг друга забавные гримасы внезапной радости, удивления, любопытства – перед наставленным фотоаппаратом замирал, демонстрируя туповатую улыбку. Ещё менее привлекательно выглядела Маруня. Большое, почти до земли, пальто. Косо надетая шапочка, из-под которой там и сям выбивается белая косынка. Обиженно отвисшие щёки и губы. А глаза такие светлые, такие мокрые, такие не по-детски виноватые, что смотреть невыносимо!

Но Лёвка-то видел совсем другое... Господи! До чего же он полюбил этого младенца!

Нет, конечно, он и Мишеньку очень любил! Мишенька был и для него, и для всех вокруг источником гарантированной равномерной радости. Казалось, ничего плохого не может с ним приключиться. Даже мелкие его детские неприятности протекали как-то легко, почти весело. С хохотом показывал он всему двору только что набитую шишку... С интересом следил за манипуляциями хирурга, снимающего ноготь с нарвавшего пальца.

Но Маруня... Эти крошечные ручки, горестно сжатые на груди...

Она вызывала в Лёвке такую невыносимую нежность, такую горячую жалость, такое сочувствие!

Не то чтобы Лёвка когда-нибудь подумал: “Вот Эшка уже и то, и то может сделать сама... А ребёнка как будто немножко избегает. Даже шапочку надеть на Маруню поручает старухе...”. Возникни у него когда-нибудь такая вот трезвая мысль – он и ответил бы на неё трезво: “Ну как же наденешь на ребёнка шапочку одной рукой? И ещё подвяжи косынку снизу! Тем более что ребёнок вертится...”

Но мыслей никаких как раз и не было. Была лишь тихая, не бунтующая грусть. Будто и он признавал право Эшки видеть в бедной Маруне причину своего несчастья. И просто старался возместить ребёнку недостаток материнского внимания.

Едва завидев это кроткое потерянное существо, ковыляющее по двору в бордовом балахоне с пелеринкой, эти ботиночки, как бы случайно приставленные с двух сторон, Лёвка хватал Маруню на руки, целовал, тискал, подбрасывал, щипал за нос и щёчки, совал конфеты, игрушки в надежде изменить, оживить выражение унылого личика. И сам страшно боялся, что любит Маруню меньше, чем Мишеньку, с которым уже и поговорить можно было, и дать достаточно сложное поручение.

Как ни странно, чуткая Эшка этого Лёвкиного надрыва не замечала. Тем более, что среди подруг её бытовало мнение, будто женщина больше любит первенца, а мужчина – младшего. Действительно, в Эшкиной любви к Маруне не было той молодой буйной радости, которую принесло рождение сына. Но эта девочка в её сознании никак не связывалась с болезнью. Более того, она ещё и себя чувствовала виноватой перед Маруней: грудью не кормила, не носила на руках, даже одеть не могла, как следует. Вот и пальто это, купленное Фирой по собственному усмотрению... Прямое, широкое, как портфель. Оно и Эшке не нравилось – правда, по-другому, чем Лёвке. Просто: некрасивая вещь. Собственно, и у соседских малышей пальтишки были не лучше. Всё покупалось на вырост. Но на других детях это не так было заметно: их лет до полутора носили на руках, возили в колясках, а эта встала на ножки в восемь месяцев!

Кстати, Маруня Эшке казалась очень даже хорошенькой и забавной. И уж никак не несчастной, не потерянной. Поневоле прикованная к дому, Эшка целый день наблюдала то, чего не мог заметить Лёвка. Как этот младенец с удивляющей осмотрительностью в каждом движении пересекает из конца в конец широкий двор, полный детей, собак, кирпичей и корней, выступающих из-под земли. В походке Маруни была какая-то смешная и уверенная старушечья раскатка. Казалось, этот младенец ничуть не обольщается насчёт окружающего мира, но и не теряется в нём.

Короче, каждый из родителей видел в Маруне нечто своё. А жизнь потихоньку подтверждала правоту Эшки. Причём, уже начиная с яслей, где Маруне пришлось коротать период, который Мишенька провёл в обществе Райки.

Эшка вышла на работу года через полтора после родов. Поняла, что ждать больше нечего, что лучше ей уже не станет. Да и привыкла она к новому положению как-то неожиданно быстро. Будто всю жизнь тянула ногу, будто с рождения не слушалась её левая рука. А тут ещё начальство торопило. Девушка, временно взятая на Эшкино место, путалась в бумагах, не умела говорить с посетителями... И уж, конечно, не было в ней Эшкиного таинственного, прямо-таки терапевтического воздействия на людей, такта, умения влезть в чужую шкуру, помочь советом или хотя бы сочувствием.

В то время Эшкина репутация достигла в городе небывалых высот. Все знали о том, как Эшка, вроде бы ни с того, ни с сего, сорвала мужа с насиженного места. Из директоров – в мастера цеха. С фабрики, которая при Лёвке расцвела и вышла в передовые – на рядовой заводик. Причём без всяких видов на дополнительные доходы.

И что же? Оказалось, ушёл Лёвка в самое время! Как гром с ясного неба, пошли вдруг статьи в центральных газетах о “делах артельщиков” – с показательными судами и расстрелами. А за ними и местная пресса начала собственную разоблачительную кампанию. Покатились по городу ревизии, проверки, обыски... Бывшие Лёвкины инженеры все оказались

в тюрьме. Незлопамятный Лёвка их жалел, пошёл даже к следователю, хорошему Эшкиному знакомому. Стал объяснять, что количество левой продукции сильно преувеличено. Толковал про брак, про отходы. Объяснял, что при одной заливке этих самых бабочек и божьих коровок получается не более двух экземпляров. А при тугой консистенции – вообще ничего! Что ревизия бездумно пересчитала все гнезда на пресс-формах, а все гнезда ну никак не могут быть заполнены пластмассой! И что это легко проверить.

Но следователь посоветовал Лёвке не вмешиваться и о себе вообще не напоминать. Он уверял, что это вовсе не важно – сколько там получалось божьих коровок. Воровали они? Воровали! И понесут за это заслуженное наказание. Чтоб другим неповадно было. “Распустился народ! Все воруют! Даже искать не надо! Только скажи мне, что выпускают на предприятия, какие там есть материалы – и я тебе, Лёва, сразу скажу, кого и за что там надо посадить! От директора – до уборщицы! Другое дело, если бы тебя лично зацепило, тогда бы я...”

И будто накаркал... Зацепило. Посадили Нуську. И непонятно, за что! Какой там навар был с этой типографии?! Нуська клялся, что “не допускал никаких злоупотреблений”, и Лёвка верил ему, ибо хорошо знал брата. Не был Нуська сверхъестественно честен, но был зато сверхъестественно труслив. Единственный из всех соседей, не посещал он бесплатно кинотеатр “Ударник”, где работала билетёршей жена Райкиного брата Вути. Рисковая Фира ходила туда лишь тайком от мужа и с большими предосторожностями. Сидела на утреннем сеансе, в пустом зале, опасливо поглядывая на дверь.

Нуська мог устроить жене дикий, истерический скандал из-за какого-нибудь бинтика или пузырька спирта, принесенного из больницы. “Можно и с одеколоном ставить банки! – выкрикивал шёпотом Нуська и весь трясся. – Я ещё зарабатываю на одеколон!” Фира эту его слабость не уважала, но нервы Нуськины щадила. Жаловалась на безденежье исключительно людям надёжным, таким, которые не стали бы передавать её слова Нуське.

И вот этого-то Нуську, которого в пот бросало от слова “суд” или “обыск”, который ненавидел поговорку “от тюрьмы и от сумы...” – обыскали... арестовали... засудили... Фира являлась на заседание суда в чёрном платье и с младенцем на руках. Но судей это зрелище не смягчало. Тем более, что сразу ясно было каждому: властная царственная Фира вполне способна и в одиночку справиться с любыми сюрпризами сволочной советской действительности. Именно так и утешал Эшку уже упоминавшийся следователь, когда она пришла просить за сестру.

– Ты пойми, Эшка, – оправдывался он. – У нас тоже план! Ты же знаешь, как я тебя уважаю! Если бы он один проходил по этому делу, я бы его отмазал. А так – ничего не могу. Ты уж не убивайся! Отсидит – и вернётся. Может, ещё и под амнистию какую попадёт. Тем более, что он фронтовик, два ордена Славы, Красная звезда... И вообще... молодой парень...

Бедный Нуська, стриженный налысо, исхудавший, и вправду выглядел пугающе молодо. Голова его без пышной, тугой, как войлок, шевелюры казалась уменьшенной вдвое, так что огромные с густыми ресницами глаза и высоко поднятые брови едва на ней умещались. Вдобавок он без всякого стыда плакал вслух, при своих и при посторонних. Вешался по-детски на Фиру, а Фира обнимала его и гладила, менялась в лице, но не давала своим твёрдым маленьким губам искривиться.

– Ничего-ничего! – без конца повторяла Фира. – Я этого так не оставлю! Я лучшего адвоката найму! Всё продам! Дойду до Москвы! Я самому Хрущёву напишу: пусть знает, как у нас борются с преступностью! Настоящие дельцы гуляют на свободе, а честным работягам дают шесть лет!

Эшке в словах сестры мерещился неприятный намёк и укор. Менее чувствительному Лёвке – тоже, но он не находил нужным объясняться с невесткой, и без того убитой горем.

Жалкий Нуськин вид сильно всколыхнул в нём заглушенные в последнее время братские чувства. Он участвовал во всех хлопотах наравне с Фирой, сопровождал её и в Москву, и в Киев, и в Коми АССР, где Нуська валил лес. Деньги Фира брала, их много требовалось и на

адвоката, и на поездки, и на посылки, продуманные до мелочей. Брала, но, невзирая на Эшкины и Лёвкины протесты, всё подсчитывала и записывала.

Вернуть когда-нибудь долги при зарплате медсестры было просто невысказано. Поначалу Фира устроилась на две ставки, но денег от этого прибавилось совсем немного, к тому же дети остались без присмотра. Поэтому Фира стала ходить по домам делать уколы. Она всегда славилась в городе своим умением с первого раза попасть в самую безнадежную вену, безболезненно ввести катетер. Какой-то слепой старик научил её делать массаж, а знакомая косметичка – смешивать питательные кремы, сводить прыщи и угри. При случае Фира бралась и постричь, и волосы покрасить. И уж совершенно незаменимой была Фира в случае мастита или простатита.

Однако доходнее всего оказалась мелкая спекуляция. То есть поначалу Фира и понятия не имела, что она спекулирует. Просто, отправляясь в большой город с очередной апелляцией, Фира принимала заказы у своих клиентов. Кому требовался бюстгальтер с кружевом, кому китайский костюмчик или шубка для ребёнка... Местные магазины не удовлетворяли возросших запросов населения. Ясно, что Фира не обязана была выстаивать по пять-шесть часов в очереди за “спасибо”. Случалось, она проводила в ГУМе целый день. Приезжала задолго до открытия и занимала очередь везде, где уже стояло несколько человек. А потом до закрытия бегала с этажа на этаж, скупала всё, на что хватало денег.

Удачнее всего у неё вышло с женскими костюмами. Белые такие, шерстяные, а воротник, манжеты и пуговицы из чёрного бархата. Как-то по дороге в прокуратуру заскочила случайно в галантерейный магазинчик, где, кроме дремлющего продавца, не было ни души, и купила один костюм себе, а один – просто так. Вдруг кому-то понадобится! Так вот в эти костюмы Фира за год обрядила весь город... Во всяком случае, и у Эшки, и у Райки, и у Вутиной жены такие имелись. И на празднике, устроенном в честь Нуськиного возвращения, женщины слегка напоминали железнодорожниц в парадной форме...

Отсидел Нуська четыре года. В городе считали, что Фира мужа выкупила.

За столом подвыпившие гости всё изумлялись, как быстро эти четыре года пролетели. Фире так не казалось. За это время у неё и морщинки появились, и седые волосы, и усталая не по возрасту гримаска...

Задавленная своими разнообразными делами, Фира, случалось, и обращала внимание на эти перемены – но как-то без досады и страха. Будто всё это должно исправиться, стоит лишь вернуться Нуське.

И вот теперь она сидела за столом рядом с мужем и видела в зеркале себя, толстую... с начинающими отвисать щеками, с валиком жира между шеей и подбородком. Неприятнее всего Фире было то, что она выглядела старше всех сидящих за столом женщин. То есть Фира и была старше – но не настолько.

Такое открытие сильно отравляло Фире праздник. Уж как она была привязана к Эшке – и то... Сверлила Фиру нехорошая мысль: “Конечно! Ей-то не пришлось пройти через то, что пережила я!” Райкин цветущий вид огорчал её меньше. Что с неё возьмёшь, с дурёхи! Разбухает себе, как тыква. Но ведь и Вутина курица лучше сохранилась! Видно, роды действительно обновляют организм.

А рядом сидел Нуська. Тощий, лысый, чуть как бы помятый, а вместе с тем какой-то совсем молодой. Будто и в самом деле пропустил эти несколько лет. Пожалуй, он мог бы сойти за старшего приятеля Петеньки, который, наоборот, слишком быстро повзрослел. Возможно, отчасти стараниями местных хулиганов. Они повсюду подкарауливали Петеньку и доносили вопросами: “Эй, Петька! Где твой отец? Когда он вернётся?” Багровый от стыда Петенька сквозь зубы отвечал: “Мой отец погиб на фронте”. И все заливались хохотом.

Опасливо поглядывая то на сына, то на мужа, Фира гадала, как теперь сложатся их отношения. Она боялась, что Петенька не простит Нуське пережитого позора. С Нуськиной стороны осложнений не предвиделось. Он только восхищался Петенькиным ростом и

свежими усами. Петенька же посматривал на отчима с некоторым недоверием. Фире и самой казалось, что тоненькие морщины по углам Нуськиных глаз, и шрамы на его руках, и два пробела между зубами выглядят... как бы это сказать... чуть притворными. В них мерещилось какое-то потаённое блатное бахвальство – как и в Нуськиных рассказах о пережитых ужасах. То есть все, конечно, понимали, что валить лес на севере не сладко, но многое вызывало сомнения. В особенности красавец-гой, дружбой с которым Нуська так гордился. Этот самый Толик, неизвестно за что полюбивший Нуську, несколько раз спасал его от неминуемой гибели. Защищал от уголовников, руководил каждым Нуськиным поступком, подсказывал, что делать, чего не делать, с кем делиться посылками, а с кем нет. И ещё много чего подсказывал, поскольку сидел не впервые.

Постепенно хмелея, Нуська всё чаще напоминал Фире, что завтра же они должны отправить Толику посылку, ибо кроме него, Нуськи, нет у Толика никого на свете: мать у него умерла, а жениться он между двумя отсидками не успел.

– Он мне теперь, как брат, Фира! – повторял Нуська с воодушевлением, которое слегка задевало родственников.

Когда же кто-то выразил своё удивление: странно, дескать, что преступник защищал порядочного человека – Нуська оскорбился и стал уверять, что именно Толик и есть порядочный человек. Просто шалопай немножко и очень горячий. Первый раз он сидел вообще ни за что! Ради шутки стащил поросёнка у хозяйки-чешки. Ерунда, конечно, но как раз в это время чехи стали жаловаться, что наши солдаты мародёрствуют. Начальство устроило показательный суд. Война уже кончилась, и всё могло бы обойтись в крайнем случае разжалованием, не брякни он на суде между прочим, что не отнимал ни сервизов, ни пианино, как другие.

А второй раз вообще – бросился разнимать драку, а ему чуть не пришили убийство.

Слово “убийство” произвело на присутствующих впечатление тягостно-неприятное, хотя в том, что человека могут упечь ни за что, ни про что, никто не сомневался.

Ни до того, ни после Нуську настолько пьяным не видели. Упился так, что при женщинах, при детях стал описывать, какая забавная татуировка выколота на задку у Толика. Сам Репин бы лучше не нарисовал! Два кочегара в кепках стоят друг против друга с лопатами, один – пожилой, бородатый, второй – молоденький. При ходьбе они начинают двигаться попеременно, будто забрасывая уголь... Тут женщины перебили Нуську дружным “фу” и прикрыли рты белыми рукавами с чёрными манжетами и пуговицами. Дети же визжали от восторга и требовали подробностей.

Нуськины кочегары превратились в легенду многодетного двора. Их изображали на бумаге карандашами и чернилами, мелом – на стене сарая, углём на стене уборной. Разумеется, всё это был не Репин. Вутин выводок единодушно клялся, что Сёмке, старшему из них, в ремесленном сделали точно такую же наколку, однако летом на пляже выяснилось, что они врал.

К тому времени, когда Толик внезапно появился во дворе собственной персоной, о кочегарах давно уже позабыли.

Была середина июня. Вдумчиво оглядевшись, Толик прошёл к Нуськиному дому, крепко хрустя травой. Имелись при нём: зачехлённый чемоданчик, мешочек на плече и зелёный ватник под мышкой.

И Нуська, и Фира были на работе. Светочка отдыхала в пионерском лагере, а Петенька кончал третий курс Томского медицинского института. Толик прошёл прямо под орех, ветви которого разрастались всё мощнее вширь, отчего двор стал окончательно похож на крытое помещение, куда вроде бы и зайти без спроса неловко. Он удобно уселся на Эшкиной скамеечке, телогрейку положил на рабочий столик Хаим-Шаи и стал курить.

В тот день двор был обманчиво пуст. Конечно, жильцов в нём и в самом деле поубавилось. Многие соседи, из тех, что в трудные времена заселили кладовки и чуланы бывших хозяев, оказались в выигрыше: они первыми получили квартиры в хрущёвских новостройках. Освобождавшееся после них жильё последовательно занимал многодетный Вутя. В какой-то момент они с женой приостановили было своё бурное размножение, но ради расширения жилплощади его возобновили.

Вутя, который мог бы получить квартиру раньше других, современное жильё не признавал. Он находил, что ступить прямо из кухни в траву или в снег – большое преимущество. Постепенно он вообще стал воспринимать двор, как собственное поместье. Попытался даже вдоль флигеля развести нечто вроде огорода, но дети его, конечно же, ни одному овощу не дали созреть.

Вутя считал, что для его оравы подходящих квартир в принципе быть не может. Что же касается так называемых “удобств”, то Вутя по этому поводу обычно говорил: “Мне недалеко сбегать во двор и не трудно сходить в баню!”

С годами Вутя как-то меньше стал благоговеть перед Хаим-Шаем и уже готовился поговорить с ним о том, что следует пересмотреть его долю в урожае, собранном с ореха... Конечно, дерево посадил старик, ухаживал за ним, подпирал ветки и всё такое – но земля-то общая! Вутя считал, что урожай следует делить по количеству людей. А выходило даже наоборот: каждый год в середине лета Мишенька вылезал на дерево и рвал зелёные орехи. Эшка варила для сладёны Маруни ореховое варенье – любимое варенье разоблачённого вождя Иосифа Виссарионовича. Чистить кожуру было трудно, коричневый сок неделями не смывался с рук – так что других желающих на эту экзотику не имелось. А осенью, при делёжке, эти самые зелёные орехи не учитывались.

Особенно такое положение стало возмущать Вутю после того, как Эшка получила квартиру в кирпичном доме МВД. Квартира по тем временам была роскошная – три отдельные комнатки, кухня, ванная. Эшке немного завидовали даже лучшие друзья.

В освободившуюся Эшкину половину перебрались Райка с Арончиком и детьми, старики вернулись на своё прежнее место, а в проходной комнате поставили, наконец, газовую плиту.

Примусы начинали выходить из употребления даже в сёлах, так что у старика хватало свободного времени. Со старухой ему говорить было не о чем. Каждое утро, надев картуз и взяв большую сумку, Хаим-Шая выходил со двора, от ворот оглядывался на орех, будто оставлял дом и двор под его ответственность, и отправлялся на базар. Он закупал продукты, накануне заказанные Эшкой. Оплачивал счета. Забирал из химчистки вещи. Всё это запросто могли бы сделать и Эшкины дети, но Хаим-Шая внуков жалел: он считал, что они и без того слишком быстро повзрослели при больной матери.

Увы, Хаим-Шая имел в виду не то, что случилось с Эшкой после родов...

Ни рука, ни нога её уже не восстановились окончательно, но старик неожиданно легко к этому привык – так же, как и сама Эшка. То есть, конечно, никто ничего не забывал... Эшка даже любила иногда погоревать вслух. Поговорить с Лёвкой о том, как когда-то бежали они наперегонки по Потёмкинской лестнице, как танцевали краковяк на танцплощадке... Но само ощущение бега восстановить было трудно. А в глубине души Эшка обо всём этом как-то и не слишком жалела.

Куда веселее было, когда уже после болезни они с Лёвкой заводили патефон! Эшка ставила свою больную ножку на Лёвкину лапу, и так они танцевали часами, а вокруг, взявшись за руки и комично повторяя их движения, скакали дети...

Работала Эшка почти рядом с домом, с хозяйством справлялась просто прекрасно. Мишенька, который пошёл, как видно, в деда, смастерил ей множество всяких приспособлений, разных палок, ухваток, зажимов, так что даже здоровые женщины ходили к Эшке одалживать разные штуки для мытья окон или полов под мебелью, всякие

закрепляющиеся тёрки и шинковки, вёдра на колесиках... Постепенно Мишенька начал конструировать и достаточно сложные агрегаты. Хаим-Шая только головой поводил: “Из него бы вышел не просто ювелир, а ха-а-роший ювелир!”. А уж как им хвастал Лёвка!

В то время дядя Лёва бывал у нас регулярно. Проездом в Харьков, где он учился в заочном техникуме. Или по дороге в санаторий. Новая работа не сказалась благотворно на его лёгких. Шумный, свистящий звук дыхания пугал. Казалось, в боках у него насверлены дырки. При этом дядя Лёва непрерывно курил. По-видимому, разговор без дыма не доставлял ему удовольствия.

Сначала он доставал, разумеется, свой бумажник и привычно пускал по кругу фотографии. Марунино личико... всё такое же плаксивое. Круглая, смешливо-губастая физиономия Мишеньки. Она тоже не менялась. Только чёлка густела и всё увереннее укладывалась набок, да стебелёк шеи превращался в ствол.

По-прежнему милее всех глядела их мать. На большой фотографии, сделанной в ателье, тётя Эшка задумчиво смотрела, склонив головку к плечу, покрытому ажурным белым шарфом. Казалось, она трогает его щекой, проверяя, насколько он пушист.

В это время дядя Лёва доставал портсигар, разминал сигарету, искоса поглядывая на вас: достигли ли вы уже нужной кондиции восхищения. Как же иначе! Попробуйте не восхититься! Что? У вас тоже сын – отличник? Так, может, и ваш сын сделал матери специальное устройство для чистки рыбы?! Может, и у вас жена была не одной – двумя ногами на том свете, а теперь моет окна и вышивает ковры?!

Даже тот самый несчастный случай в день переезда на новую квартиру Лёвка излагал с досадой, больше похожей на восхищение. “Ей, понимаете, хотелось оставить после себя полный порядок! А с той стороны перил закатилась вишнёвая косточка! Как же она могла оставить на лестнице косточку?! Она просунула туда веник и...”

Собственно, ничего такого страшного не произошло. Лестница была деревянная, пологая, Эшка вроде и ударилась не так уж сильно, даже скорую помощь вызывать не хотела, но старик настоял. Оказалось, что у Эшки сломана ключица, и в новую квартиру она въехала в тяжеленном гипсовом жилете, с гипсовым рукавом, выставленным вперёд наподобие хобота, который вдобавок поддерживала деревянная подпорка.

Конечно же, для закованного в такую бандуру человека всё превращалось в проблему: и сон, и мытьё, и одевание. Даже просто пройти в дверь надо было аккуратно, особенным образом. Но что хуже всего – в гипсе оказалась здоровая Эшкина рука. А больная висела беспомощная... только дёргалась туда-сюда. Лишь теперь всем стало ясно, насколько от этой руки мало проку.

Господи, как трудно было бедной Эшке, стеснительной и щепетильной! Эшка думала, что, как только избавится от своего панциря – сразу станет всем довольной и совершенно счастливой!

Но когда в положенное время гипс сняли, оказалось вдруг, что Эшке больше не под силу вещи, с которыми она прежде запросто справлялась. Спускаться, например, по лестнице. А главное – ходить по улице, ни за кого не держась.

Казалось бы: кость срослась правильно, рука уже разработана, почти что не болит... А с ногами ведь и вообще ничего нового не приключилось!

Просто беда! Прижмётся боком к стенке и стоит. А сделает шаг – колени начинают дрожать, голова кружится...

Эшка попробовала ходить с палкой. Пустое! Ступит раз, другой – и застрянет. И к хирургам её возили, и к невропатологам, и даже к психиатру. Каждый советовал что-то по своей линии, но всё без толку. В конце концов пришлось Эшке смириться. На работе ещё

долго держали её место, но ничего не поделаешь: погоревали и в конце концов вынуждены были принять постоянного человека.

Впрочем, это не отделило Эшку от общественной жизни. В том же доме получили квартиры и некоторые её сослуживцы. Они часто забежали к ней рассказать новости, посоветоваться. Более того, поскольку Эшке почти сразу поставили телефон, её неофициальная должность выслушивать излияния и утешать не только не зачахла, но даже приобрела невиданный размах. Можно сказать, Эшка превратилась для города в нечто среднее между юристом, священником и психоаналитиком.

Бывало, совершенно посторонние люди, обсуждая какую-нибудь проблему, уточняли, знает ли об этой проблеме Эшка и каковы её рекомендации. Доходило до смешного. Слепо следуя Эшкиному примеру, половина города удалила своим детям гланды, отдала дочерей на спортивную гимнастику, а сыновей – на волейбол, приобрела яйцерезки и электромясорубки.

Эшке-то самой как раз вовсе не нравились котлеты, перемолотые на электромясорубке, но выхода у неё не было. После перелома она никак не могла перекрутить мясо одной рукой. И на табуретки она больше не взбиралась, и бельё не выкручивала.

При всём при том в новой квартире хозяйничать ей стало куда легче, чем в доме отца. Газ, вода, туалет, ванная – всё под рукой, всё удобно... Продукты, как уже упоминалось, закупал Хаим-Шая. А если требовалось съездить, например, к врачу или на какое-нибудь семейное торжество, Лёвка подгонял к парадному такси и вдвоём с Мишенькой они спускали Эшку на руках. Но без крайней надобности Эшка никуда не выбиралась.

На вечеринку, устроенную в честь приезда Толика, Эшка не поехала. Но Лёвке велела пойти обязательно. “Даже если он настоящий преступник, этот Толик – раз он спас твоего брата, мы все ему обязаны! Каждый член семьи! Мы должны его уважать и во всём ему помочь”.

Возвратился Лёвка поздно. И изрядно подвыпивший. От его тщетных стараний ходить и раздеваться бесшумно Эшка сразу проснулась. Оставив полустянутый носок, Лёвка стал рассказывать о том, что холодец у Фиры, как всегда, не получился, а от жары совсем раскис. Так что его никто его не ел, кроме виновника торжества и самой хозяйки. А фаршированная рыба, как ни странно, удалась, но Толик в ней, видно, ничего не понимает, что, в общем-то, естественно...

И ещё много чего Лёвка рассказал, в чём сквозила его так и не прошедшая до конца антипатия к невестке. Но на этот раз Эшка не стала обижаться и спорить. У неё был более существенный повод для беспокойства. Конечно, комната у Фиры была не маленькая, и Петенькина кровать пустовала. Имелась, в конце концов, и раскладушка. Но всё же... Жить в одной комнате с совершенно чужим человеком... Не совсем надёжным...

Протрезвевший Лёвка тут же стал успокаивать жену. Дескать, гой этот, действительно, немножко блатной, но по-своему явно порядочный и симпатичный. И лицом, и фигурой он просто красавец! Поёт, как Бернес, а на гитаре играет, как Ойстрах! И за женщинами, надо сказать, ухаживает умело, так что даже Фира весь день бегала розовая. В общем, проблем нет. Пусть только этот Толик устроится на работу – а там и недели не пройдёт, как все бабы из-за него передерутся, почтут за счастье прописать на своей жилплощади, стирать на него и штопать носки... Если же этого Толика возьмёт в оборот стоящая женщина, он вообще человеком станет! И это будет большая честь для Фиры – поздороваться с ним.

Когда среди ночи Лёвка проснулся и увидел освещённое луной лицо Эшки с большими открытыми глазами и озабоченно прикушенной губкой, он даже рассердился:

– Господи! Да какое это к тебе имеет отношение?! Тебе-то что?! Может, ты его и не увидишь никогда в жизни!

И что же? Тут Лёвка оказался прав. Эшка Толика так никогда не увидела. Но увидела его Райка. Свежим июньским утром вышла она босая на веранду, потянулась, вдохнула волнующий запах молодых ореховых листьев... И обнаружила в той части двора, которую не покрывала тень ореха, незнакомого мужчину. Открутив до рёва здоровенный кран, он стоял, согнувшись, и мылся. Все движения его были торопливы и порывисто-жадны. С каким-то хищным азартом намыливал и скрёб он свою голову, бросками сильных рук тёр шею и спину. Кожа его была гладкая, загорелая, и крепкие мускулы под нею, казалось, упрямо толкают друг друга.

Райка стояла в своей розовой ночной рубаше, созерцая неожиданное для этого двора представление. Накануне вечером она вернулась из Алушты: отвозила в санаторий детей. О появлении Толика ей никто не сообщил. Она знала о том, что Фира с Нуськой посылают в лагерь продукты, даже о том, что легендарный Нуськин спаситель должен вот-вот приехать. Однако загорелая спина оранжево-бронзового цвета и тоненькая полоска белой кожи, восходящая из-за ремня, наводили на мысль о Крыме, о Кавказе – но никак не о Коми АССР.

Впрочем, когда мужчина, крепко вытерев свои светло-жёлтые волосы и накинув полотенце на прямую шею, обернулся и ослепил Райку сиянием своих бирюзовых глаз и стальных зубов, Райка мгновенно догадалась, что это он и есть. И ей совсем не важно было, бандит он – или действительно сидел ни за что.

Казалось бы, Толик лишь мимоходом скользнул по Райке взглядом, а при этом он успел то ли чего-то от неё потребовать, то ли предъявить на неё какое-то своё, доселе неизвестное Райке право. И она не только не попыталась противиться, но вся так и обомлела. Впервые в жизни её позвал – мужчина. Куда больше мужчина, чем помешанный на своей калеке чубатый Лёвка с его насмешливо-пинающим взглядом. Чем кудрявый трусоватый Нуська. А уж Арончик...

С тех пор, как Райка окончательно уверилась в том, что знаменитый клад Хаим-Шаи – выдумка городских голодранцев, она стала всё больше раздражаться на мужа. Чувствовала себя прямо-таки обманутой – тем более, что от зачахшего примусного бизнеса ей перепадало всё меньше.

Поколебавшись в течение несколько лет, Райка устроилась на работу. В ларёк при овощном магазине. Первые месяцы концы с концами у Райки не сходились, и она вынуждена была покрывать недостачи из собственной зарплаты. Эшка уговаривала невестку уйти из торговли, но та не захотела. Она предпочла потрудиться над развитием своих математических способностей. Для начала стала прибавлять к любой вычисленной сумме по несколько копеек – на всякий случай. Если покупатель возмущался, тут же соглашалась с ним и возвращала лишнее. Но случалось такое не часто.

В общем, метод оказался эффективным. Впоследствии Райка научилась считать очень даже неплохо, но строила из себя растяпу, бедную простодушную нескладёху. Ещё раньше освоила она немудрёные торговые фокусы с гирьками и весами и в конце концов стала зарабатывать больше своего мужа, так и не освоившего главных тонкостей парикмахерского мастерства. Просто тошнота брала, когда он начинал моргать и блеять, силясь развлечь клиента. То ли дело Райка: среди тыкв и баклажанов, с веткой винограда на ладони, припудренная, напомаженная, румяная от витаминов и свежего воздуха!

К тому времени у Эшки уже пролегли морщинки у рта и по углам глаз, углубились тени над верхними веками. Фиру выручала полнота, но на скулах её появились “печёночные” пятна, волосы совсем поседели, и ей приходилось краситься хной. Да и подруги их выглядели не лучше. Собираясь вместе, женщины принимались жаловаться и удивляться. Будто все эти изменения – дело неслыханное, редкая болезнь, почему-то поразившая именно их. Они даже пережимали в своём самобичевании ради того, чтобы услышать протесты, утешения, пусть даже явно неискренние.

У Райки тоже выдулся второй подбородок – и похлеще, чем у других. Но её лицо, вообще-то несколько сплющенное, это как бы расправило. Короче, она иллюстрировала собой известную поговорку: “Каждому овощу – свой срок”.

Итак, Райкин срок наступил. Овощная её женственность была как раз тем, в чём нуждался изголодавшийся Толик. Человек легкомысленный, он не давал себе труда разобраться в сложных семейных связях этой еврейской родни. Кто там кому брат?! То ли Лёвка Фире, то ли Нуська Эшке... Как-то выходило у них, что все всем то ли братья, то ли дяди... Великое дело! У Толика тоже был дядя... Так он даже Толику на письмо не ответил!

Честно говоря, Толик думал даже, что совершает благородный поступок, освобождая единственную комнату друга от своего стесняющего присутствия. Одновременно его прельщала возможность жить с Нуськой по соседству.

Конечно, Толик мешал своим гостеприимным хозяевам. Чужой человек... В трёх шагах от супружеской постели...

По ночам, мучаясь от бессонницы, Фира не знала, что её раздражает больше: шумное, прерывистое дыхание мужа или индустриальный храп Толика. Казалось, её распиливают пополам. И ведь неизвестно, сколько ей придётся терпеть! Может быть, годы.

Не угрожай Фире такая мрачная перспектива, она, несомненно, вмешалась бы и попыталась расстроить этот скоропалительный роман. А так... Фира говорила себе: “Надо быть справедливой. Райка тоже человек. Она тоже имеет право на счастье. Почему она должна профукать всю свою жизнь на сумасшедшего Арончика, если появилась такая возможность?” Фира любила брата, но не могла не видеть, что даже для Райки он муж незавидный. Кислый и бледный... как несвежая сметана.

Надо сказать, что вся эта рокировка прошла на удивление тихо. Арончик, существование которого для Толика и сразу было неощутимо, исчез на своём чердаке. Для Хаим-Шаи именно это было главной проблемой. Он снова забегал по врачам, написал в Москву... Пару раз всплакнул – но не от сожаления по утраченной невестке, а от умиления светлым умом Эшки, которая сразу предсказала, чем закончится брак Арончика.

Эшку такое доказательство собственной прозорливости ничуть не радовало. Теперь она боялась, как бы обрушившийся удар не подкосил окончательно слабую психику Арончика.

Ещё больше её волновали дети. Двухмесячный срок их пребывания в санатории подходил к концу, и даже Райка понимала, что к сюрпризу, который ожидает их дома, Людочку и Васеньку надо как-то подготовить. Смирив свою гордость, она потащилась к Эшке советоваться. Решили, что забирать детей поедет Лёвка. Несколько дней Эшка инструктировала его, как надо говорить с Васенькой и как с Людочкой. Главное, не допускать никаких колкостей по адресу матери и её нового супруга, поскольку с этим человеком им теперь придётся жить под одной крышей. Эшка уговаривала Лёвку, заклинала его – и тут же сокрушалась, зная наверняка, что Лёвка от едких замечаний не удержится. “Ты только не настраивай их, пожалуйста! Им и так будет тяжело. Вернутся в свою комнату – а там чужой мужчина! У них должны быть хорошие отношения. Ты ведь сам говорил, что он вовсе не плохой”.

Надо сказать, что Толик, намыкавшийся по лагерям и тюрьмам и так внезапно обретший жену и дом со всем прилегающим инвентарём, был очень не против обрести в придачу ещё и пару деток. Он даже с нетерпением ждал их приезда. За месяц Толик прижился на новом месте и встретил детей, как радушный хозяин, вовсе не беспокоясь о том, что им может показаться странным это радушие. В особенности его призывы не стесняться. В их собственной комнате.

Одиннадцатилетняя Людочка приспособилась к новому положению вещей очень легко. Тут же стала называть Толика папой. За одной дверью у неё жил один папа, за другой дверью – другой...

А вот для Васеньки сложившаяся ситуация стала невыносимым кошмаром. Он старался избегать всех: и отчима, и матери, и собственного отца. Эшка предложила ему до начала школьных занятий пожить у неё, но Васенька предпочёл перебраться в комнату деда. Эшку же он попросил разузнать, куда бы можно было поступить учиться так, чтобы вовсе уехать из дому.

Эшка и по вопросам образования считалась в городе большим специалистом. За несколько лет до того она заставила Лёвку поступить в Харьковский энергетический техникум – на заочное, конечно, отделение. Все тогда только плечами пожали. Она и другим советовала обзавестись хоть какой-нибудь бумажкой об образовании. И уже через пару лет стало ясно, что она снова оказалась права. Как-то неожиданно быстро выросла довоенная детвора и стала претендовать на места “опытных практиков”, не имеющих дипломов, а порой даже аттестатов зрелости. Молодых специалистов пекли, как пирожки, и их надо было распределять, пристраивать... Так что лысеющим директорам и главным инженерам на пороге пенсионного возраста приходилось либо брать за учебники, либо освобождать места, либо командовать из-за плеча наглого парнишки с институтским ромбиком на лацкане. В любом случае унижительно! И все завидовали дипломированному Лёвке, который в этой драме не участвовал.

И всё же не следует думать, что Эшка руководила Лёвкой, как послушной куклой. Он как раз был даже очень своеволен. И от природы, и от униженного своего детства, и от долгой службы на флоте. Лёвка слушался Эшку именно потому, что она никогда не командовала, а лишь как бы намекала, мечтала вслух... В крайнем случае – просила. Кстати, он и Эшку не всегда слушал. Например, так и не бросил курить. Больными лёгкими никогда всерьёз не занимался. Даже зимой не надевал шапку. Мог он и грубовато перебить Эшку. Мог и попрекнуть – ласково, правда – злополучной вишнёвой косточкой.

После перелома ключицы Эшке, да и всем вокруг стало казаться, что болезнь её началась именно с этой самой косточки. Что ж, во всяком случае, до этого несчастья Эшка жила совершенно полноценной жизнью. Главное – ничего у неё не болело, а тут мало того, что одна рука не двигается, так ещё и другая покоя не даёт, особенно ночами. Будто собаки грызут.

Этой своей проблемой Эшка ни мужа, ни детей не отягощала. Зачем? Эшка старалась, чтобы никто не видел, как она справляется со стиральной машиной, как натирает пол, чистит раковины. Не очень складно это выглядело, и потому она занималась хозяйством в первой половине дня.

К двум часам Эшка снимала рабочий халат, надевала нарядный и становилась у кухонного окна. Когда из-за угла “Дома быта” показывалась крошечная фигурка с курчавыми светлыми волосиками и оранжевым портфелем до пола, Эшка зажигала конфорки под кастрюлями. Пока Маруня переходила дорогу – Эшка ковляла в коридор и открывала дверь. Пока Маруня переодевалась и мылась – Эшка накладывала еду в тарелку. Так же она в три часа встречала Мишеньку, в шесть – Лёвку. Она обожала забирать у входящего портфель. Любила подавать полотенце, домашнюю одежду.

И Лёвке, и детям очень даже нравилось то, что она всегда дома. Возвращаясь откуда-нибудь, вспомнишь о том, что она ждёт, встретит, обласкает, обнимет своим тёплым обволакивающим взглядом – и так приятно становится! Сразу ускоришь шаг и невольно улыбнёшься.

Конечно, делать тонкую работу – вышивать, к примеру, гладью – Эшка больше не могла. Так оно уже и из моды вышло! Подушечки, салфеточки... Стали говорить, что всё это мещанство, и Эшка убрала их в кладовку, чтобы не позорить детей перед друзьями. Только “Трёх богатырей” оставила в спальне. В них для Эшки заключалась как бы летопись знакомства и начала их с Лёвкой общей жизни. Вот эту руку она вышивала, когда Лёвка явился к ним во двор первый раз. А эту гриву заканчивала в роддоме.

Эшка очень любила рукодельничать и жалела, что не может обшивать Маруню. Представляла себе, как могла бы украсить вещички, купленные в магазине. Мысленно вышивала на воротничке клубничку, бабочку... А потом вдруг надумала вышить ковёр.

Идея эта пришла внезапно. Эшка искала, куда бы ей пристроить завалившийся с войны отрез дорогого матросского сукна, кое-где побитый молью. Думала, думала – и вспомнила, что есть ещё и шерстяные нитки на антресолях. Яркие, разноцветные. Отходы, которые Тоня в своё время накупила у себя на трикотажной фабрике: хотела научить Маруню вязать. Но и Тоня оказалась неважной учительницей, и Маруне вязать не понравилось...

Сначала отрез разложили на полу, и Мишенька весьма успешно скопировал с телеграфного бланка букет сирени с тюльпанами. Букет, нарисованный мелом на чёрном сукне, выглядел очень эффектно, но не вполне устраивал Эшку, поскольку был “обрезан” с трёх сторон. Она решила рискнуть: сама пририсовала снизу стебли и несколько листьев. Вышло очень хорошо, и осмелевшая Эшка стала по собственному усмотрению прибавлять и переносить с места на место цветы. В конце концов от первоначального рисунка ничего не осталось.

Вышивала Эшка почти без посторонней помощи. Лохматый кончик нитки склеивала мылом и легко втягивала в цыганскую иглу с большим ушком.

На этот ковёр ушёл у Эшки год с небольшим, но уж вещь получилась просто замечательная! Все уверяли, что ничего равного по красоте не видели, что никакой персидский, никакой трофейный ковёр с ним и близко не сравнится.

Огромный, почти на всю стену букет действительно производил ошеломляющее впечатление. Особенно сирень! Цветки были вышиты в технике рококо, они даже на ощупь напоминали настоящую сирень – разве что крупноватую. Эшке и самой иногда не верилось, что эта красота создана её собственными руками – точнее, рукой. Когда никого не было рядом, она могла даже вслух сказать: “Неужели это сделала я?! Неужели я могу сделать ещё такое же?!”

Эшка решила, что ковёр этот подарит Мишеньке, когда тот женится.

Такое вполне разумное и объяснимое решение укрепило Лёвку в его печальном заблуждении. Он даже не удержался и с мягкой, но укоризненной улыбкой спросил, почему не Маруне, не дочери, для которой как бы и принято у людей готовить приданое.

Возбужденная успехом Эшка никакого глубинного подтекста в вопросе не уловила. Она уже попросила Фиру подыскать сукно для следующего ковра, а Тоню – заказать нитки. Собирала фотографии цветов и мысленно распределяла по ткани рисунок. Это снова была сирень, но на сей раз – белая, а вместо тюльпанов – жёлтые и бледно-абрикосовые розы. На тёмно-бордовом фоне.

Эшка всё время думала о своём новом ковре. Иногда даже забывала, что покамест это всего лишь замысел. Про себя она называла его – “Марунин ковёр”.

Любовь её к Маруне... Это была тихая любовь двух опускающихся рядом снежинок... двух рук, двух листьев, толкаемых одним порывом ветра. Возвращение Мишеньки всегда было шумным, радостным сюрпризом. Эшка скучала по нему, даже когда он выходил куда-нибудь на полчаса, трепала, целовала его, сюсюкалась с ним, как с маленьким. А Маруня всегда возвращалась тихо. Как бы долго она ни отсутствовала – всегда казалось, что Маруня выходила на секунду и теперь вот спокойно занимает своё место возле матери... Такой любви не требовалось ни шума, ни вообще каких-нибудь внешних проявлений. С Маруней Эшка всегда была проста и серьёзна, как с ровесницей. Казалось, что даже находясь далеко друг от друга, они смотрят и дышат в лад.

В отличие от отца Мишенька с самого начала ощущал эту разницу. Возможно, этим и объяснялись странные вспышки его раздражения на Маруню. Любил он её почти так же, как

Эшку. Но, случилось, вдруг, ни с того ни с сего, перебивал её рассказ или какое-нибудь невинное замечание холодным окриком: “А ты бы молчала! Это из-за тебя мама заболела!”. Или что-нибудь менее конкретное. Маруня тут же застывала, потупив головку и глядя снизу светлыми, как у Арончика, но более выпуклыми и будто вечно заплаканными глазами. Губки у неё были почти такие же толстые, как у Мишеньки, но не яркие, а бледно-розовые и как бы чуть-чуть размазанные. Казалось, Маруню ударили по лицу, но она считает, что заслужила это. Неожиданно для самого себя брызнув ревнивой злобой, Мишенька тут же захлёбывался от жалости и начинал баловать и задаривать сестрёнку.

Лет с тринадцати он получил право без спроса пользоваться инструментами деда. И что поразительно: никогда его Хаим-Шая не учил, не объяснял, какая штучка для чего предназначена, но Мишенька откуда-то сам знал всё это. В пятнадцать лет он вытачивал из латуни такие кулончики, что дед, скупой на похвалы, только языком цокал, повторял снова и снова со стоическим огорчением: “Да-а! Из него бы получился не просто хороший ювелир...” Старик даже выпросил у Маруни ключик, который она носила на шее, и отправил бандеролью брату в Одессу, откуда вскоре пришла открытка: “Не то что хороший ювелир, а ювелир, каких мало!” И ещё несколько слов о новых болячках.

Окрылённый такой высокой оценкой, Мишенька тут же выточил для Маруни ключик ещё затейливее. И гораздо тоньше его обработал. После этого обе двоюродные сестры на него обиделись.

Обычно Мишенька всячески демонстрировал, что для всех трёх девочек старается одинаково. Конечно, к Маруне он был привязан сильнее, но Свету, Нуськину дочь, взрослые полушутя прочили Мишеньке в жёны. Девочка она была очень красивая, и Мишенька вовсе не против был на ней жениться, хотя она и походила характером на свою норовистую мать. А проще всего ему было с самой старшей, с Людочкой, дочкой любимой няньки и неуклюжего дяди, брошенного этой самой нянькой.

Эшка постоянно повторяла Мишеньке, что его все эти взрослые дела не касаются. Легко сказать! Бывало, чмокнешь Райку по привычке – а тут Арончик выходит! Или дед. Или Вутя, который много лет в одностороннем порядке считал себя Райкиным братом, но после разразившегося скандала торжественно отрёкся от неё.

О своём отречении Вутя известил соседей, стоя в пижамных штанах посреди двора.

– Всё! У меня больше нет сестры! – надрывался Вутя, а Райка пожимала жирным плечом и ела с большой тарелки чёрную шелковицу. Одну за другой. Когда он в пятый раз повторил, что Райка бросила порядочного мужа и ушла к арестанту, высунулась из своего окна Фира и пообещала рассказать Хаим-Шае, кто стащил его стамеску и свёрла, если Вутя сейчас же не заткнётся.

Вутя заткнулся, хотя во дворе и так все знали, кто приворовывает инструменты. Старый Лис, обнаружив очередную пропажу, обычно стучал в Вутину дверь и без слов протягивал руку, а Вутя без слов клал на неё похищенное. Спокойно, будто возвращал одолженную вещь. Явление необъяснимое, ибо всем известно было, что Вутя не умеет работать руками. Головой тем более.

Как ни странно, никто в городе толком не знал, на какие заработки Вутя содержит свою растущую ораву. Крутился он при базаре. То ли убирал там что-то, то ли сторожил... Скорее всего, оказывал какие-то услуги приехавшим торговать крестьянам. При этом и Вутю, и в особенности жену его обуревали необъяснимые амбиции. Что-то они плели, тёмное и несусветное – о какой-то особой Вутиной миссии. Возможно, и инструменты он брал не из корысти, а ради конспиративных целей: я там, дескать, что-то мастерю... такое... чего вам и знать нельзя...

Собственные его дети, годам к девяти догонявшие отца интеллектуально, очень его уважали. Ходили с отвисшими подбородками вокруг старого немецкого приёмника, в давние времена раскуроченного Вутей, уважительно заглядывали в таинственную путаницу

разноцветных проволочек и решали, кто он, их отец: разведчик или ловец шпионов. В этих возвышенных догадках их утверждали и крестьяне, которые изредка ночевали у Вути или прятали что-то у него в сарае. А более всего – двусмысленное выражение Вутино лица. Искусственный глаз его смотрел тупо и прямо, как вмонтированный объектив. И как бы в тени его азартно шнырял собственный Вутин глаз, высматривая что-то за двоих.

В конце концов подрастающие дети должны были разочароваться в отце. Но тут Вуте самым неожиданным образом повезло. Вялый поток его невнятной жизни свернул, можно сказать, в новое русло.

Вдруг оказалось, что город – старая его часть, разумеется – прямо-таки набит историческими ценностями. Тут тебе и деревянная церковь, и каменная, и всевозможные монастыри, и богатый костёл с обломками органа, и татарское кладбище, и армянское кладбище, и турецкий колодец... И, конечно же, древняя крепость, стоящая особняком, среди живописных зелёных холмов и долгие годы представлявшая интерес исключительно для городских мальчишек.

Киношники так и набросились на всё это. Снимали без конца. И про гайдамаков, и про революцию, и про войну... Тут можно было снимать “за границу”, не выезжая в Польшу или в совсем уж немислимую Швейцарию.

Для исторических фильмов, естественно, требовалась массовка. Вот тогда и настал звёздный час Вутино семейства. Наконец-то он сам понял, для чего наплодил столько детей! Белёсо-рыжие, как мать, чёрные, как отец, грудные и подростки, они вдобавок не имели выраженной национальной принадлежности и могли исполнять роль толпы хоть цыганской, хоть швейцарской... На съёмочной площадке они чувствовали себя свободно, как на родном дворе, а самые способные могли даже разыграть эпизод. Кроме того, в случае надобности Вутя поставлял для съёмок грудных младенцев, на что решались немногие даже за приличные деньги. Храбрые Вутины младенцы, закалённые под дворовой колонкой, шли ко всем на руки, смеялись, ели и не простужались.

Сам Вутя был незаменим, когда требовался пожилой придурковатый еврей. Армянин. Цыган. Однако же главной его функцией было не актёрство. В Вуте обнаружился талант администратора – причём цепкого и прижимистого.

Родню свою к этой золотой жиле Вутя не подпускал. Отчасти – боялся конкуренции. Кроме того, Вутя старался создать в городе впечатление, что живёт он теперь исключительно за счёт кинематографа.

Город, хоть и имел завышенное представление о Вутиных доходах, понимал всё же, что они недостаточно регулярны. К тому же никак нельзя было скрыть, что Вутя не только не прервал своих таинственных связей с базаром, но даже расширил их. Последовательно присоединяя к своей жилплощади освобождающиеся в левом флигеле клетушки, он занимал заодно и прилегающие к ним просторные сухие сараи. Соседи Вутины, люди не злые, иногда всё же ворчали на него: устроил, мол, во дворе склад... Особенно раздражало их, когда все эти погрузки-разгрузки происходили поздно вечером или в пять-шесть утра, да ещё в воскресенье. Случалось, что Вутины клиенты второпях вытапывали цветы или оставляли во дворе мусор. А уж горки лошадиного навоза дымились у ворот почти постоянно.

Но если и случались настоящие скандалы, то зачинщицей их бывала исключительно Райка. Выправив отдельный лицевой счёт, она почувствовала себя окончательно независимой. Хозяйкой, имеющей такие же права, как все – и даже больше! – на двор, на орех, на бельевые верёвки, на сараи. Отчасти агрессивный Райкин дух закалила торговля, отчасти – наличие надёжного тыла.

Стоило взглянуть на Райку воскресным летним утром, когда она, дыша паром, как буханка, только что вытасченная из печи, появляется на веранде... Лениво, но вместе с тем и подробно, придирчиво оглядывает двор... Долго решается – поднять или не поднять руки, скрутить ли на затылке длинные чёрные волосы, запустить ли в узел шпильку... А то, может, вообще вернуться в комнату, где вместо Арончика, противного, как холодная грелка, лежит и ждёт её – мужчина. Красивый. С крепкими руками. Загорелый, жадный, щедрый, опасный...

Так что она, Райка, никому не позволит занять угловой сарай! Пусть только попробует кто-то посягнуть! Тем более, что теперь фамилия у Райки – Симонова! Последнее окончательно утвердило Райку в том, что под крыльцо Чмутов её подбросила всё-таки не еврейка. Это она и демонстрировала усердно на каждом шагу.

Толик, человек бывалый, но наивный, таких тонкостей не замечал. Молодость его, поделённая между армией и тюрьмой, протекала при полном безразличии родни. Так что ему даже очень симпатична была еврейская мишпуха, бурно переживающая развод троюродного брата, чью-то грыжу или экзамены в институт. Особенно Толик старался наладить отношения со стариком. Отрешённый вид и молчание Хаим-Шаи он считал следствием пережитой семейной драмы, виновником которой сам же и являлся.

Ещё больше переживал Толик из-за пасынка, который всё время выглядел каким-то потерянным.

Уж как он старался для Васеньки! Дорогие лыжи ему купил! Два китайских свитера! Костюм! Даже мотоцикл купил, можно сказать, ради него! Думал: "Неужели мотоциклом мальчишку не пройму?! Посажу его сзади – и махнём вместе куда-нибудь далеко. В лес, на речку!". Он даже фамилию свою хотел дать Васеньке. Нет, не как-нибудь бестактно! Он сначала с Нуськой поговорил. Отец, мол, дело святое, но надо же и о мальчишке думать! Что это за имя такое получается?! "Василий Лис!" Да ещё Аронович! Засмеют ведь в нахимовском!

В нахимовское училище Васеньку устроила невидимая для Толика Эшка. Через каких-то знакомых свёкра покойной Маруни. Почти год бедный Васенька доказывал тётке, что должен стать, как Лёвка, моряком. Что и Лёвка в детстве был щупленький, а на флоте вон какой стал! А ему, Васе, дома плохо. Как ни повернись, кто-то обижается! Толик пристаёт со своим мотоциклом, отец из окна подсматривает...

Толик очень переживал из-за отъезда Васеньки. И не оттого, что боялся общественного мнения. Просто он был ненавистником всяческой муштры и дисциплины. Именно потому и отговаривал пасынка. И Райку, которая была в восторге от морской формы.

Но, как только Васенька уехал, все почувствовали, что так оно и вправду лучше. Вечером садились за стол втроём – семья как семья! Под жёлтым абажуром. Отец... Высокий, шея молодая, локти уверенно упираются в стол... Серебряной ложкой Хаим-Шаи хлебает бульон с мандалах. Мать режет фаршированную шейку. Старается, балует. Дочка крылышко грызёт. Хорошенькая. На мать похожа – но милевиднее, нежнее.

Даже в самые лучшие Райкины времена было видно, что выросла она на буряке и редьке. Людочка же, казалось, выросла исключительно на куриных фрикадельках и клубнике со сливками.

К счастью для Людочки, в три года её отдали в детский сад. Эшка уговорила. А то неизвестно, до каких немислимых объёмов довело бы ребёнка Райкино материнское тщеславие, вдобавок равнодушное к умственному развитию. Конечно, интеллектуалкой Людочка и в садике не стала, но до ожирения сердца дело не дошло. Хотя Людочка, единственная в группе, и съедала без капризов всё, что перед ней ставили, но расти вширь она перестала. Казалось, в садике её методично вытягивают в длину. Вот уже живот не нависает над коленками... А вот и шея как будто наметилась...

К двенадцати годам стало ясно, что у Людочки вообще всё на месте. Если б не детское личико, ей можно было бы дать лет семнадцать-восемнадцать. Чёрные волнистые волосики Людочка заплетала в толстую небрежную косу. И походка у неё была... не то что ленивая... как бы бесцельная, будто Людочке всё равно, куда идти. На улице к ней постоянно приставали мужчины, введенные в заблуждение обманчивым видом сзади. Людочка ничего этого не замечала и не понимала. Она была даже не глупа, но как-то непроходимо наивна и добродушна. Зато Райка замечала всё и очень гордилась ранним успехом дочери. Опасаться за Людочкину безопасность ей не приходило в голову: у девочки был любящий, заботливый отец. Не какой-нибудь бледный чердачник!

Надо сказать, что блатной шарм, который поначалу особенно привлекал Райку в Толике, быстро улетучился. И стал он в общем-то обычным мужиком, вроде Лёвки или Нуськи. То ли постоянное общение так на него повлияло, то ли он сознательно подлаживался к стилю еврейского двора. Это слегка раздражало Райку. Она много раз объясняла Толику, что оба они тут никому не родня. Он вроде бы и сам это знал, но... забывал как-то. Всё не покидало его приятное чувство, что женился он на свояченице друга и вошёл в его семью. Хаим-Шаю, которого он вообще-то старался избегать, Толик называл отцом и покаянно опускал голову в его присутствии. И Хаим-Шая это ценил. Как и безукоризненное отношение Толика к детям.

К тому же оказалось, что Толик – тоже “ювелир”! Лучший в городе автомеханик.

Сначала Нуська с большим трудом устроил его на работу в заводской гараж, но уже через два месяца Толика сманивали наперебой три фирмы – отбивали, как женщину, друг у друга. Скоро он начал зарабатывать больше, чем Лёвка и Нуська, вместе взятые.

Бывало, летом Хаим-Шая с каким-нибудь реликтовым примусом и Толик с обломком довоенного “Опеля” устроятся под орехом и возьмётся себе, одобрительно поглядывая друг на друга: только настоящий мастер может оценить работу другого мастера! А это уже были своего рода отношения... Во всяком случае, в споре за недавно освободившийся угловой сарай Хаим-Шая был на стороне Толика. И не потому, что мечтал освободить свой собственный сарай от мотоцикла и Райкиных дров. Они ему не мешали. Просто он считал, что Райка права: раз у неё отдельный лицевой счет, то и сарай тоже должен быть отдельный. Причём, именно угловой. Туда, если проделать дверь прямо на улицу, можно было бы запросто загонять легковую машину. Вырыть яму. Подвести электричество. Купить слесарный станочек... У Толика открылись бы совсем другие возможности, другой размах. В конце концов, с Вути хватит и трёх сараев!

Что касается Вути, то он готов был отказаться от любого из своих сараев, но за угловой собирался бороться до конца. И это был не каприз. Из-за ореха, стоящего посреди двора, подъезд ко всем сараям был осложнён, так что любой желающий видел, что именно тащат на плечах или волоком Вутины клиенты. Не мог гордый Вутя загнипнотизировать соседей, внушить им, что в бочках и мешках лежит киноплёнка! А вот если бы вход в сарай был с переулка Котовского, никто бы ничего не видел и не знал.

Вутя понимал, что и Райка от углового сарая так просто не отступится. Может дойти не только до исполкома, но и до суда. Больше всего Вутя боялся, что она накрутит своего уголовника, и тот захватит сарай самовольно. Пробьёт туда дыру прямо из сарая Хаим-Шаи, и тогда уж никакой суд не станет с ними разбираться.

Во избежание такого оборота Вутя заставлял свою “съёмочную группу” зорко следить за действиями Толика. И Вутины кинозвёзды свято исполняли свою обязанность, одновременно принимая от щедрого дяди, который, в отличие от тётки, признавал их за племянников, конфеты, шарики, мелочь на кино или мороженое. Райка злилась, подсчитывая убытки, но, поскольку всё ещё не решалась предъявить права на левые доходы супруга, старалась воздействовать на него через Людочку. Тщетно, ибо добродушной Людочке не жалко было ни денег, ни конфет. Лишь бы соблюдалась субординация: племянникам – по конфете, дочке – шоколадка. Их – прокатить по разу вокруг дома отдыха швейников, её – аж до водохранилища!

Если было время, Толик с Людочкой по дороге заезжали в лес, откуда, смотря по сезону, привозили трофеи: ландыши, землянику, калину, грибы. Особенно нравилось Людочке рвать цветы. Казалось, она намеревается полностью очистить от них окружающую природу – да вот, к сожалению, в руках больше не помещается...

В тот солнечный день бдительные “племянники” Толика предполагали увидеть Людочку с большим снопом колокольчиков и ромашек. Однако часа в два они услышали знакомый рокот мотоцикла не у ворот, а со стороны переулка – причём, именно за

злополучным угловым сараем. Приникнув к двери, они явственно услышали осторожный треск. Выламывали доску!

Если бы Вутя дольше решал, что лучше: подкрасться к узурпатору со стороны переулка или, наоборот – ослепить его, эффектно распахнув дверь... Но Вутя, слава Богу, побоялся упустить время и, осторожно провернув в замке ключ, дёрнул на себя ржавую ручку...

Ожидаемой пробоины он не увидел. Не сразу он заметил и валяющийся в проходе деревянный ящик. И Толика, висящего совсем рядом в тёмном углу.

Хорошо, что у Вути было много детей! На всё хватило! Двое побежали к Райке на работу, двое – к Нуське, двое – вызывать скорую помощь. Остальные помогли отцу подсунуть ящик Толику под ноги.

Вынул из петли его Нуська. Пока приехала скорая, Фира успела привести Толика в чувство.

Рыдая и захлебываясь рвотой, Толик требовал вернуть его снова в петлю, хрипел что-то бессвязное: “Сам не знаю... Пустите... Угробил ребёнка...”.

Бедная Фира поняла сначала так: Толик с Людочкой попали в аварию. Это подтверждали и пятна крови на его светлых брюках. Но тогда совершенно непонятно было, что это он бубнит про свою татуировку и про короткое платье... Пока не разобрала она, наконец, несколько раз повторенное, искажённое спазмом длинное слово.

Ни Нуська, ни подоспевшие врачи вообще ничего не различали в выхрипах Толика и не понимали, о чём Фира закликает его молчать. Как только Толика увезли, Фира бросилась к Эшке и ничуть не удивилась, обнаружив там Райку. Горячая, потная, лохматая (видно, рвала на себе волосы), Райка тут же на неё напустилась: “Это всё из-за вас! Это вы его сюда перетащили на мою голову! Разбили семью! Я его под расстрел подведу, а вас...”.

Тут Фира, которую до этого сверлило-таки чувство собственной вины, слегка успокоилась и набросилась на Райку со свойственным ей жёстким остроумием:

– Здравствуйте! Тоже мне невинная жертва нашлась! Может, он и тебя изнасиловал?! Может, это у него была жена больная? Может, это он привёл чужого человека в свой дом, а законную жену выпер к родителям и довёл до обострения?! Пусть ребёнок ни в чём не виноват, ничего не понимает! А ты?! Что, не понимала, что она у тебя уже созрела – хоть замуж выдавай?! Поговорить не могла с ребёнком?! Объяснить, что надо быть осторожной? Что нельзя сидеть при мальчишках, расставив ноги?! Да ещё в платье детском до пупа! Дылда здоровенная! Наклонялась перед ним в этом платье! Цветочки собирала! И ещё сама прицепилась к нему, чтобы он ей этих дурацких кочегаров показал! Ты бы, чем ревновать, о ребёнке лучше подумала! Как теперь с ребёнком быть?

Райка, безоружная перед Фириним красноречием, бросилась на неё с кулаками. Но тут как раз начался сердечный приступ у Эшки. Вдохнула – а выдохнуть не может. Резкая боль, руки оледенели...

С приступом Фира справилась сама, без скорой помощи. После этого заговорили уже рассудительнее, тише. Стали решать, как быть дальше.

Толик – перед тем, как вешаться в сарае – завёз Людочку в областную больницу, где, по счастью, отделением гинекологии заведовала Эшкина приятельница. Она-то и позвонила сразу Эшке, а уж Эшка – Райке, на работу.

Доктор Дворкина принимала у Эшки первые роды и была ей очень обязана. Это Эшка посоветовала Дворкиной не дожидаться государственной квартиры. Эшка сказала, что строят в городе мало, медленно, и когда она ещё будет – бесплатная квартира! А в кооперативную Дворкины въедут уже через полгода. Дело это новое, и люди пока не поняли всех его преимуществ. Поэтому их приходится уговаривать, поэтому и цены невысокие. Ну что такое тысяча сто рублей за двухкомнатную квартиру! Зарплата за год. Собрать такую сумму совсем нетрудно. Надо только одалживать не у одного человека, а у многих. По сто, по пятьдесят рублей. Так и собрать будет легче, и люди будут меньше волноваться...

Эшка оказалась права. Семья жила в новой квартире уже четвёртый год, с долгами рассчитались, а исполкомовская очередь за это время почти не продвинулась. Поэтому Людочкой Дворкина занялась собственноручно.

В результате долгих совещаний была выработана официальная версия: Людочка каталась на мотоцикле и неудачно упала на заборчик. Простодушной девочке так заморочили голову, что в конце концов она и сама почти поверила в это. Даже несколько удивилась, не обнаружив дома отчима...

Забинтованного Толика Нуська прямо из больницы проводил на вокзал. Толик просил у друга прощения и ещё просил поблагодарить Эшку, которой так никогда и не увидел.

Эшке удалось убедить Райку и возмущённого Лёвку, что подавать в суд нельзя – раз уж они решили всё сохранить в тайне. Что Толик и так наказан. Что он не насильник, от которого надо защищать других детей. Что эту трагедию не стоит превращать в развлечение для города. Что надо к тому же пожалеть Арончика, и старика-отца, и Васеньку. Райка нехотя согласилась, потому что действительно никак нельзя было одновременно наказать Толика и скрыть от всех правду.

Эту страшную тайну Лёвка легкомысленно поведал моим родителям, когда был у нас проездом в Кисловодск. Рассказывал прямо при мне, лишь заменяя некоторые слова на еврейские. Но, несмотря на такую конспирацию, я всё поняла. И ужаснулась. Девочка... Почти моя ровесница... А тут ещё этот легкомысленный, слегка скабрёзный тон... он оскорблял меня как-то лично. Что-то нехорошее, удовлетворённо-щучье мерещилось мне в Лёвкиной улыбке. Мне всё казалось, что он вот-вот скажет вслух: “Ничего ей, тёлке, не сделалось! Даже на пользу пошло!”.

“Интересно, – думала я, – как бы ты улыбался, если бы такое случилось с твоей дочкой?”. Впрочем, такое и вообразить себе было невозможно. Этой своей Маруней он прямо-таки болел. Надрывал сердце. Всё рассказывал одну и ту же историю: как Маруня сама пошла покупать себе первый в жизни “лифик”.

Он так любил Маруню, что даже не хвастал ею. То ли дело Мишенька! И брови у него чёрные! И губы красные! И медаль золотая! И в институт поступил! И девушка у него уже есть! И аденоиды такие, что велели сейчас же оперировать! Сам сделал для матери машинку, которой можно чистить картошку одной рукой! Отходов, правда, получается многовато. Но у Эшки всё идет в дело! Сестра дворничихи держит в Швейцарии свинью. Эшка собирает для неё эти лушпайки. А та даёт Эшке какую-то особую рассаду для цветов. “Эшка у нас на балконе развела настоящую оранжерею! Хоть экскурсии води!”.

Вообще, с годами он хвастался Эшкой всё более... воспалённо. Как у неё блестит в доме каждая вещь... Как она их по очереди “выглядывает” из окошка... Как счастлива врачиха, которая заплатила за квартиру тысячу рублей, а сейчас такая стоит четыре тысячи... И как грызет себе локти Фира, которая не послушалась Эшку и не вступила в кооператив... И что ковёр Эшкин хотели взять на выставку в музей, но Эшка не согласилась, потому что обои вокруг ковра выцвели, а главное – скоро, судя по всему, его придётся отдать Мишеньке. И что Эшка вышивает теперь второй ковёр. Причём, уже сейчас видно, что он будет ещё красивее первого, хотя готов пока только левый нижний угол.

Ну, и надо ли повторять, что после этого подавались фотографии. Казалось, Лёвка совершенно не замечает, что у Эшки ещё ниже опустились концы губ. Причём как-то неодинаково. И глаза стали по-новому грустные... Несомненно, история с племянницей здоровья Эшке не прибавила.

В ту злосчастную минуту, когда доктор Дворкина позвонила ей из областной больницы и сообщила о Людочке, Эшка как раз вышивала бежевой ниткой тень на жёлтой розе. Следующие два месяца она вообще не могла заставить себя вернуться к работе.

Посмотрит на это место – и сразу накатывают болезненные, унижительные воспоминания. Так ей дурно становится, будто всё случилось минутой назад!

Когда Эшка снова взялась за вышивание, оказалось, что каждый стежок даётся ей как-то труднее. Меньше ловкости в руке, быстрее устают глаза и плечи, неудобно сидеть...

Эшка мечтала поскорее закончить этот злополучный угол. Но и со следующим углом дело пошло не легче. Так уж вышло, что на него тоже пришлось неприятные события. Когда Эшка начала первый лист, ни с того ни с сего помирились Райка с Арончиком. Когда заканчивала последний, они снова разошлись...

Незадолго до этого развода знакомая почтальонша по секрету рассказала Эшке о том, что Райка получила из Сибири заказное письмо. Впоследствии выяснилось, что в письме была уверенность на продажу мотоцикла. Через некоторое время Райка получила крупный денежный перевод. Затем извещение на междугородный разговор. Потом ещё одно.

Когда Эшка взялась за центральный букет, Райки в городе уже не было. Она укатила с Людочкой в Тюмень...

Вышивать цветки сирени одной рукой – да ещё в центре огромного куска тяжёлой материи – было нестерпимо трудно. Иногда Эшка даже раздражалась до слёз. Она хотела уже отказаться от первоначального замысла, но тогда пришлось бы перепарывать и готовые два угла.

Изредка накручивать нитку на нитку ей помогала Маруня. Вроде бы и дело нехитрое, но девочка от работы этой сразу уставала. Может быть, на неё давило то, что таких лепестков предстояло сделать несколько сотен.

На этот букет пришлось очень много всего. Умерли в Москве родители мужа покойной Маруни. Женился Мишенька. Событие как будто радостное, но вообще-то грустное, потому что молодые поселились не у Эшки, а на другом конце города, у родителей Мишенькиной жены. А когда Эшка вышивала самую крупную розу, произошло совсем уж удивительное событие: женился Арончик!

Эшке казалось, что именно с этим связано праздничное сияние, исходящее от цветка. Хотя дело, скорее всего, было в том, что как раз тогда Эшка придумала подкладывать под лепестки для объема кусочки разноцветного сукна. Они и создавали неожиданный, волнующий эффект.

Арончик долго ничего не рассказывал сестре. То есть как... Однажды он упомянул о какой-то девушке, которая пришла к ним в парикмахерскую просить, чтобы кто-нибудь подстриг на дому её парализованного отца. И что он, Арончик, согласился. Остальные отказались, хотя жила она близко, через дорогу. Никому не хотелось подниматься на пятый этаж... Да и содрать с неё за эту услугу было неловко. Арончик же взял адрес и пообещал зайти после конца смены.

Эшке об этом походе Арончик рассказал просто потому, что хотел пожаловаться на своё сердце: вот, мол, поднялся на пятый этаж – и так запыхался, так задохнулся, что девушка заставила его принять валерьянку... Но почему-то он промолчал о том, что давно уже знал её наглядно.

Она ходила на работу мимо окон парикмахерской. Маленькая, худенькая, беленькая, с большим узлом на затылке, с бархатным бантиком под воротничком, очкастенькая, всегда с портфелем, часто в сопровождении детей, стеснительная и оживленная... Нет, Арончик никогда не наблюдал за ней как-то по-особенному... Просто он имел привычку в ожидании клиентов таращиться в окно. Он и отца девушки, как выяснилось, знал – и был страшно изумлён, когда понял, что уродливо обросший, сморщенный, злой старикашка и есть тот самый вальжный начальник, который где-то полгода назад перестал посещать их парикмахерскую. Арончик предполагал, что его перевели на более высокую должность, а оно вон как оказалось...

Кстати, старик и вправду был начальником, хотя и не таким большим, как считали в парикмахерской. Арончику он очень не понравился. Особенно тем, что всё время кричал на дочь. Бульканья его Арончик не понимал. То ли старик не доверял лично Арончику, то ли вообще не хотел стричься... В конце концов он смирился – только бурчал что-то явно нелестное для Арончика, пока тот с ним возился..

Арончик выразил готовность регулярно обслуживать старика: пожалел девушку. Так она, бедная, отца уговаривала! Так краснела, почти плакала от отцовской брани! Так старалась отвлечь гостя, когда в отцовских неразборчивых тирадах неожиданно чётко звучало слово "жид"!

Арончик решил сделать вид, что ничего не понял и что старик пытался сказать что-нибудь безобидное.

На следующий раз всё повторилось в том же порядке, только Арончик отказался от денег и остался пить чай. Чуть осмелевший, он разглядел наконец, что квартирка у бывшего начальника вполне скромная. Ни хрусталя, ни ковров... Только очень много книг. Разглядел, что хозяйка – и это его почему-то очень обрадовало – вовсе не так уж молода. Вблизи видны были морщинки у глаз, скрытые толстыми стёклами очков. Она преподавала в школе литературу и не могла говорить ни о чём другом.

Разумеется, поддерживать подобный разговор Арончику было не под силу, но слушал он с наслаждением. Ему передавалось воодушевление хозяйки. Хотелось, чтобы она говорила, говорила...

На третий раз Арончик вызвался брить старика три раза в неделю. На четвёртый раз принёс цветы.

А когда пришло время снести гроб старика с пятого этажа, Арончик с горячностью предложил свою помощь, хотя всю жизнь безумно боялся покойников.

Как-то в разговоре Хаим-Шая сообщил Эшке, что чердак Арончика стоит закрытый дольше, чем обычно. Что его это, конечно, очень радует, что он никак не хотел бы навредить Арончику, но и вводить в заблуждение девушку он, Хаим-Шая, не имеет никакого права...

– Какую девушку? – изумилась Эшка.

Так получилось, что Эшка, которая узнала о Тане последней, познакомилась с ней первая. Гости явились без предупреждения. Лёвка был на работе, Маруня на тренировке. Эшка открыла дверь, и Арончик тут же, не переступая порога, обрушился на сестру с каким-то новым, не свойственным ему полётом в говоре.

– Знакомься! Это Таня! Она сделала мне предложение! Я хочу, чтобы ты ей всё про меня рассказала. Всё-всё! Я сам не могу!

В полумраке глаза Арончика светились и мутнели от отчаянной решимости. Острый подбородок его пропадал в букете свежих бледно-жёлтых астр, который он вместо того, чтобы вручить Эшке, прижимал к груди с напряжением девочки-невесты.

Но смешно почему-то не было. И уж точно не было смешно беленькой очкастенькой Тане. Она только высвободила из рук жениха цветы и передала их Эшке, после чего Арончик с небывалой прытью пустился вниз по лестнице, а Эшка повела Таню на кухню. Из кухни было видно, как некурящий Арончик ходит взад-вперёд перед домом, ломая свою кепку. Так ему пришлось проходить часа два.

Сначала Эшка никак не могла собраться с мыслями. Уж так не хотелось ей рассказывать эту самую правду! Однако вскоре выяснилось, что Таня очень даже хорошо осведомлена. То ли сам Арончик успел ей что-то рассказать, то ли потрудились посторонние.

Казалось, на каждое Эшкино слово у Тани давно приготовлен продуманный ответ. И чем дольше говорила Таня, тем больше она нравилась Эшке.

Эшка понимала, что грешно воспользоваться наивностью этой одинокой стареющей девочки, знакомой с жизнью исключительно по книгам. Ясно было, что вот так же увлечённо, с почти нездоровой преданностью делу говорит она об Андрее Болконском и Печорине.

Эшке очень нравились все эти хорошие и красивые слова, сказанные об Арончике, но она не позволила себе увлечься и с трезвой скрупулёзностью перечислила болезни и странности брата, жестоко отделяя его от Печорина и Онегина. Бедная Таня при этом беззащитно моргала и даже как-то жалко прикрывалась рукой, будто спеша отгородиться от того, что сейчас может сказать Эшка. “Да-да! Я знаю об этом! Он мне об этом говорил!”.

И такое у неё было умоляющее лицо, что Эшка, наконец, поняла и испугалась. Господи! Да что же она делает! Зачем старается всё испортить этому невинному существу, промечтавшему тридцать пять лет! И вот сейчас, когда жизнь подбросила ей, наконец, нечто, из чего она с суетливой радостью пытается сотворить себе сказку, “честная” Эшка, вместо того, чтобы помочь, лезет со своей никому не нужной кондовой правдой...

Эшка запнулась и повела вдруг разговор совсем в другую сторону. Неожиданно для себя самой вспомнила о том, как Арончик в детстве просил её не ловить бабочек, как выпустил из мышеловки мышь. И ещё, и ещё много чего...

Таня как будто расцвела. То и дело совала пальчик за очки, вытирала благодарные слёзы. А Эшка рассказывала – и изумлялась: как хорошо, как светло ей всё это говорить.

Арончик топтался под домом, растерянно поглядывал то наверх, в окна, то на часы. Для него время летело вовсе не так быстро.

Таня влюбилась в Эшку с первого взгляда и на всю жизнь. Почти каждый день забегала к ней. Якобы узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь. Но Эшка, как уже упоминалось, работать при свидетелях избегала.

Обычно, чтобы не разочаровывать Таню, она просила её затянуть несколько ниток впрок. Эшка тогда вышивала белую сирень в центре ковра. Снова прекрасно приспособилась! И удивлялась, как это ей сразу не пришло в голову: суровую нитку-основу держать в зубах, а рукой накручивать на неё шерстяную.

Таня восхищалась и ковром, и Эшкой. Говорили они всегда об одном и том же – об Арончике. Причём Эшка вслед за Таней стала называть его Ароном. Она не могла понять, почему не замечала прежде в ласкательном обращении “Арончик” что-то снисходительное, унижающее взрослого мужчину.

Кстати, наивная Таня оказалась тоньше и прозорливее и во многом другом. Для всех, например, было так естественно и неоспоримо то, что Арончик работает парикмахером, будто он родился в комплекте с расчёской и бритвой. А Таня вдруг заявила, что эта профессия не для него, что он человек хрупкий, с воображением, с повышенным чувством ответственности, и что вид бритвы, скоблящей беззащитное человеческое горло, расстраивает его нервы. А ко всему ещё эти чёртовы чаевые... Во-первых, это унижительно, а во-вторых, даже опасно.

Эшка тут же её поддержала. А вот для Хаим-Шаи это было чуть ли не потрясение жизненных основ. Он всё ждал, что сын вот-вот освоит главные тонкости своего ремесла, а тут... Хаим-Шая просто не представлял себе, кем ещё может работать Арончик. И где тут связь с его болезнью.

Но связь, по-видимому, была, потому что припадки у Арончика окончательно прекратились, как только он перешёл работать в магазин подписных изданий. Арончик от своей новой работы был в восторге. И действительно: чем плохо? Езди себе по городу, развози подписчикам шестой том Толстого, второй том Анатоля Франса. Целый день на воздухе, в движении... Люди симпатичные, твоему приходу рады, никто из них не знает, что ты – тот самый Арончик, который лечился от назойливой потребности прятаться на чердаке. Что тебя бросила жена, сама не ахти какая умница...

Теперь он был женат на учительнице и чрезвычайно вырос в собственных глазах. К тому же у Тани была милая, хотя, может, и несколько утомительная привычка непрерывно советоваться даже по самому пустяковому поводу. “Как ты думаешь, – спрашивала она, – не пора ли уже пересадить аспарагус? Ему не тесно в этом горшке?” – “Конечно, пересади! Зачем растению мучиться в тесном горшке!” – важно отвечал Арончик, понятия не имевший,

который из цветов, стоящих на подоконнике – аспарагус. “Да, ты прав! – кивала головкой Таня. – Завтра же пересажу!”. А то ещё, с полпути вернув ложку супа, устремляла на мужа задумчивые глаза: “Как тебе кажется... Могла бы быть Наташа счастлива с князем Андреем?”. Арончик корчил гримасу, выражающую глубокие сомнения. Ему казалось, что счастлив на свете может быть только он. Причём – только с Таней. “Да-а... – Таня погружала в тарелку сосредоточенный взгляд. – Пожалуй, Андрей действительно слишком нервный для Наташи, слишком... непрстой”.

Арончик розовел от гордости. Кстати, “Войну и мир” он читал. Он вообще много читал. А после женитьбы особо пристрастился к журналам, предпочитая всем прочим “Юность”, не пугавшую его серыми массивами сплошного текста. Последний номер он всегда таскал под мышкой – причём, не без некоторого щегольства.

Внешне Арончик очень помолодел. То ли от любви, то ли от здорового образа жизни. Прямая русая чёлочка, так унижавшая его во времена роскошных коков, вдруг оказалась самым популярным фасоном молодёжной моды. Грубошёрстные хэмингуэвские свитера, которые вязала Арончику Таня, смягчали глуповатую жёсткость его фигуры, скрадывали длинную шею и геометрический кадык – всё, что так неуклюже подчеркивали уродливые пиджаки и галстуки.

Труднее всего оказалось отучить Арончика от его огромной плоской кепки. Он привык таскать её в любой сезон и мусолил в руках, когда волновался. После некоторого переходного периода он стал носить берет с хвостиком.

Но главным и самым успешным нововведением Тани оказались усы. Светло-русые, пышные, очень мужественные... Вот ведь какая мелочь нужна для того, чтобы женщина почувствовала себя защищённой!

Когда же Арончику прописали очки по причине возрастной дальнозоркости, в городе появилась новая шутка: “Вы слышали? Арончик пишет кандидатскую диссертацию!”.

Такую метаморфозу принимали со смесью иронии и удивления. Танина семья переехала из Сибири сравнительно недавно, и город не ощутил этого приобретения, хотя отец Тани был достаточно видным партийным деятелем. Наверное, поэтому для посторонних брак Арончика выглядел как-то искажённо. Вроде бы каждому было известно, что Таня уже шесть лет преподаёт в девятой школе русскую литературу, что двухкомнатная квартира на улице Калинина принадлежит ей. А выходило как-то так... вроде: “Вот Хаим-Шая нашёл ещё одну сироту для своего придурковатого сына! С такими деньгами всё можно устроить: и невесту с дипломом, и даже квартиру в центре!”.

Впрочем, восторженную Таню находили странной, вполне под стать Арончику. Со смехом рассказывали, как они ходят по городу, взявшись за руки, как он хвалит жену в её же присутствии, блеет, счастливо поглядывая на неё сбоку: “Это Таня, моя жена! Золото, а не жена! Не жена, а вабеле!”

Однажды он так воспарил в своём вдохновении, что даже сказал, ошеломлённо моргая: “Знаете что? Она даже лучше, чем Эшка!”.

Эшке об этом доложили, но она ничуть не огорчилась. Даже наоборот, была тронута, ибо Арончик никогда не выказывал ей своих нежных чувств.

И городские шуточки не огорчали Эшку. В конечном счете, они содержали изрядную долю симпатии. Арончику все желали добра.

Тем более этот городской юмор не задевал Таню. Отнюдь не глупая, она была совершенно глуха к оттенкам еврейской иронии. Таня вообще проживала свою жизнь, будто читала книгу, о которой знала заранее, что книга эта хорошая. Классика. Правда, говорить всерьёз о главных героях этой книги – о себе, о муже, о ребёнке – она могла только с Эшкой. Любительница научно-популярных статей, Таня всех уверяла, что у Эшки какое-то “особенное биополе”. Что находится возле неё необыкновенно хорошо, а, может быть, даже полезно для здоровья. Что лично она, Таня, ощущает Эшкину... благодать ещё на лестнице.

Трезвая, рассудительная Эшка любила эти их долгие разговоры неизвестно о чём. Никогда прежде Эшка не пыталась высказать словами какие-нибудь тонкие, необъяснимые

ощущения или предчувствия. И вдруг оказалось, что это не только возможно, но и очень увлекательно. Ничего подобного не было в её прошлом! Эшка чувствовала себя так, будто, выселяясь из квартиры, в которой прожила всю жизнь, она вдруг обнаружила ещё одну комнату, о существовании которой никогда и не подозревала – самую, может быть, светлую и уютную. Да вот только теперь от этого открытия одна досада.

Впервые Эшка подумала о том, что жизнь её могла сложиться как-то... интереснее, увлекательнее, если бы она не вышла замуж сразу после войны. Уехала бы в Москву, в Ленинград, окончила бы институт...

Как же много она могла бы получить, если даже простое общение с Таней делало её настолько богаче!

Эшка будто переняла у Тани новый язык, понятный лишь им двоим. И это своё приобретение всячески оберегала даже от самых близких. Эшка знала, что Лёвка, услышав их рассуждения о хрупкой, интеллигентной душе Арончика или о тонкостях его, Лёвкиного, характера, несомненно поднял бы их на смех. При его появлении Эшка тут же меняла тему. Начинала спрашивать об Ирочке.

Танину дочку Лёвка обожал. Называл её “наша снегурочка“. Беленькая, с прозрачно-зеленоватыми глазами, большими, как у отца, она будто светила. Лёвка любил с ней нянчиться, участвовать в купании. По дороге с работы он часто забегал посмотреть, как там у них дела, будто не вполне доверял “молодым родителям”.

Эшке это нравилось, но и расстраивало слегка. Дело в том, что своего внука, ровесника Ирочки, они видели очень редко, почти его не знали. Вести ребёнка к бабке с дедом было далеко и сложно. Иногда по воскресеньям Лёвка сам выбирался к Мишеньке. Поскольку телефона там не было, случалось, что он не заставал детей дома. Договариваться заранее тоже не хотелось: Мишенькина жена устраивала торжественные приёмы с салатами и варениками, а Лёвке эта суматоха была ни к чему.

– Ты для меня не старайся! – ворчал Лёвка. – Нечего устраивать ради меня банкеты! Ты вот для него старайся, его корми! – Лёвка тыкал большим пальцем в сына, вид которого отнюдь не свидетельствовал о недоедании.

Невестка краснела и с трудом скрывала обиду. Ей казалось, что свёкор обвиняет её в неискренности, в показухе... Она не знала, что Лёвка всегда и везде ведёт себя, как лукавый ревизор, который даёт понять, что видит вас насквозь и не сажает лишь по собственной доброте.

Слушая Лёвкины рассказы о детях, Эшка удивлялась его требовательности. Напоминала, как сами они когда-то чистили наскоро картошку, а то и вовсе в мундирах варили. Как мать ругала её за ежедневные танцы, за сосиски и колбасу, заменяющие добропорядочное жаркое или котлеты. На всё это Лёвка отвечал: “Тогда было другое время”.

О Мишенькиной семейной жизни Эшка знала главным образом с чужих слов. Но если что и смущало её – то именно чрезмерная взрослость, обстоятельность быта. О них только и слышно было: “варят варенье, переклеивают обои...”. И всё они копили на что-то! То на телевизор, то на шкаф. После работы и по выходным Мишенька занимался “частным предпринимательством”. Как когда-то у деда примусы, коньком у него стали сверхпрочные замки. Сверяясь с инструкцией, Мишенька изучал внутренности дорогих замков, сделанных по финской или немецкой лицензии. Детали, изготовленные из некачественных сортов стали или меди, он заменял. Сам вытачивал новые. После чего замок мог служить вечно.

Платили Мишеньке хорошо. И всё-таки главным для него были не деньги, а удовольствие.

Вот этого Эшка не понимала. Не понимала, что для невестки её лепить вареники или печь пироги – не меньшая радость, чем когда-то для самой Эшки были походы в кино или на танцы. Эшка полагала, что семья у сына надёжная, правильная, но как-то уж слишком – без лёгкости, без романтики. Будто прожили Мишенька с женой уже лет тридцать.

Рядом с ними Арончик и его Таня казались влюбленными подростками. Постоянная радость, потребность говорить о своих чувствах... Такого не было и в её молодости. Лёвка не

признавался ей в любви. Просто позвал замуж. Причём, так ещё... со смешком, с шутками. Да и она ему тоже ничего о любви не говорила...

Пожалуй, если бы кто-то спросил, любит ли Эшка мужа, она бы растерялась. Всё равно что спросить: любит ли она правую половину своего тела. Всё, что Эшка делала – она делала для Лёвки. Подкрашивала губы. Убирала в доме. Вышивала ковёр. Сопровождалась наглуемой потихоньку болезни. Лёвкино отсутствие она воспринимала, как положение неестественное, даже когда он был на работе. Или по её же поручению навещал детей, родителей, брата. Обижалась, когда он задерживался.

Лёвке это льстило, но и раздражало слегка. Сама же послала его посмотреть новый Фирин буфет! Сильно нужен ему, Лёвке, этот буфет! Ну да, заболтался слегка! Так ведь о ком он говорил весь вечер? О ней же, об Эшке. Кому она что посоветовала, как она не пожалела своего труда и выпорола совсем уже готовый бутон, как чуть ли не с секундной точностью подаёт ему сердечную микстуру...

Нежность переполняла Лёвку, требовала слов. Но не с ней же было говорить об этом! Хотя... даже кому-то из близких, вот так... прямо, вслух сказать, что он любит Эшку, что он каждый день спешит домой и даже останавливается иногда от радости: вот, мол, там, дома, она его ждёт... – нет, на такое у Лёвки никогда бы язык не повернулся! Он же всё-таки не чокнутый Арончик, который раньше прятался на чердаке, а теперь целует ручки своей очкастенькой и объясняется ей в любви при свидетелях и без.

Возможно, Лёвка, не догадываясь об этом, слегка ревновал. Боялся, что Эшка сравнивает. Разумеется, он не стал ничего перенимать из романтического арсенала Арончика. Он ещё и подшучивал, называл молодожёнов за глаза “Ромео и Джульетта”.

Эшка сердилась. Её тоже что-то смущало в этой поздней любви... Но не смешило. Такой чрезмерный накал, чрезмерный звон, казалось ей, не может кончиться добром. То ли Арончик сорвётся, и новое обострение будет похлеще предыдущих. То ли Таня в нём разочаруется... Думая об этом, Эшка обмирала от страха. И когда Хаим-Шая явился к ней в необычное время и сообщил с порога, что вернулась из Сибири Райка, Эшка так и охнула: “Вот оно!”.

В тот момент Эшка как раз нашивала белый фетр для большой розы в левом верхнем углу ковра.

Стояла середина осени. Двор, как всегда по утрам, был засыпан крупными жёлтыми листьями. Так грустно, так уютно пахло прелью...

Райка шла к своей двери, неожиданно растроганная и успокоенная смесью знакомых запахов. Веранда была заперта изнутри. Райка постучала. Вышла старуха. Отперла и ушла, будто Райка уезжала на два дня или вообще вернулась с ночной смены. Громко топая, Райка внесла в дом чемоданы с примотанными сбоку валенками, которые свидетельствовали о долгосрочности её намерений.

Обо всём этом один из Вутиных отпрысков, как раз оказавшийся у окна, сейчас же доложил отцу. И пока Райка отпирала застоявшийся замок, пока вдыхала нежилой воздух с привкусом плесени и пыли, пока оглядывала свою комнату, подсчитывая напрасные утраты: брошенную в Тюмени радиолу, подаренную сотруднице пальму, засохшие столетники, разбитый в переездах свадебный сервиз, деревянного орла, пропитого Толиком, – и даже самого Арончика, как вещь в сущности ненужную, но памятную... И так, пока она прикидывала, что из этого можно вернуть или заменить, Вутя набросил плащ поверх пижамы, ввалился в Райкину комнату и напустился на неё, шепелявый из-за двух вырванных накануне зубов:

– Ну, как?! Доигралась?! Что он там снова натворил?! Спился к черту? Или опять сел в тюрьму?

Райка, никак не реагируя на такие приветствия, стала открывать заклеенные окна и сворачивать матрасы. Причём с окнами Вутя ей даже помог.

– Видишь?! – продолжал он, ничуть не смущаясь Райкиной безучастностью. – Это – плесень! А это – вообще грибок! Боялась оставить ключи, чтобы можно было протопить?! Боялась, что муж заберёт обратно свою законную площадь?! Хотела и там быть, и тут быть?! У тебя там квартира с мужем, у тебя тут квартира с мужем! Куда захочу – туда поеду! А вот и кукиш тебе муж! Женился твой муж! И не на такой, как ты, а на учительнице, на русской, из хорошей семьи!

Райка в это время пробиралась к выходу в обнимку с тяжёлым ватным матрасом.. Удивления она не выразила, но шаг таки замедлила, притормозила. И Вутя, окрылённый завязавшимся, наконец, диалогом, потащился за нею во двор.

– Ты его не узнаешь теперь, Арончика! Увидишь, что значит, когда мужчина попал в хорошие руки!

И так, бегая туда-сюда за Райкой, он успел выложить ей все городские новости.

Кое-что Райке было уже известно. Из писем Людочки, которая почти сразу переехала из Тюмени к Васеньке в Калининград. Письма были редкие и очень коротенькие. “Поступила в техникум рыбного хозяйства. Вышла замуж, мужа зовут Костя. Сейчас он пошёл на Мадагаскар”. Не посоветовалась с матерью, не попросила разрешения, не позвала на свадьбу. Может, и свадьбы никакой не было, и даже загса. Райка и этого не знала. Людочка прислала ей фотографию мужа – крошечную, с белым уголком. По виду этот Костя был “ничего”.

Райка и сама не любила писать письма. А тут почти полтора листа исписала разными вопросами. Людочка ни на один из них не ответила. Просто забыла, наверное.

С другой стороны, в сообщениях Людочки можно было проследить и некоторую закономерность. Она, например, написала Райке о том, что у Мишеньки родился мальчик. О том, что Вутин сын, Петя, “занял второе место по штанге”. Но даже не заикнулась о женитьбе отца, о рождении Ирочки... Несколько раз упоминала о Вутиной Лиле: что та, мол, учится в Москве на артистку. И ни слова о том, что у Лили уже есть жених, старшекурсник-чех. Трудно сказать, Людочке ли самой было неприятно писать об этом – или она не хотела расстраивать мать...

Действительно, известие о женитьбе Арончика Райку не осчастливило. Но, надо сказать, известие о том, что вышла замуж за иностранца рыжая долговязая племянница, уело её сильнее. Ещё сильнее огорчило то, что у Эшки обнаружили рак. Но больше всего Райка расстроилась из-за орехов, которые успели собрать без неё. По этому поводу Райка даже отверзла свои уста и изрекла: “А орехи в будущем году будем делить по лицевым счетам!”. Такое заявление было красноречивее валенок.

Постаралась она успокоить себя и относительно Эшкиной болезни. “Ай! Нечего в голову брать! Вон старику когда ещё сказали, что у него рак! А он и сейчас здоровее молодых! Меньше их надо слушать, врачей этих! Им только деньги сдирать с людей и писать свои диссертации!”.

Надо сказать, что пример Хаим-Шаи, который жил себе и жил, хотя врачи давно вынесли ему приговор, особым образом подействовал на весь город. К болезни, при упоминании которой люди обычно впадают в страх и панику, здесь относились достаточно фамильярно. И, возможно, именно эта фамильярность благотворно на всех воздействовала. Во всяком случае, последствия этой болезни сплошь и рядом оказывались отнюдь не так трагичны и разрушительны, как ожидалось.

И Лёвка, и сама Эшка, услышав страшный диагноз, отнеслись к нему с недоверием. Эшкина новая напасть никак себя не проявляла, и обнаружили её совершенно случайно.

За долгие годы Эшка привыкла болеть. Можно сказать – научилась. Внутри неё постоянно срабатывал какой-то неосознанный стереотип: сначала – катастрофа, неожиданный удар. Затем начинается привыкание. Забываешь, как было раньше. То есть не то чтобы забываешь совсем... В разговорах с подругами могла Эшка и посетовать, и даже всплакнуть. Очень любила она рассказывать Маруне, как в эвакуации перебежала по канатному мостику,

которым решался воспользоваться далеко не каждый из местных. И как она перепрыгивала арыки, чтобы сократить путь. И как могла танцевать часами...

Маруня обожала эти рассказы. Готова была слушать их по сто раз. Но и для неё, и, как ни странно, для самой Эшки всё это было чем-то вроде волшебных сказок. Прекрасно, но нереально. И ничего тут не меняли даже отлично сохранившиеся бордовые свадебные туфли на высоченных каблуках, в которых Эшка когда-то умудрялась не только ходить, но и танцевать. Да ещё беременная! Сама Маруня даже постоять на месте в этих туфлях не могла, валилась на пол.

Маруне казалось, что жизнь до её рождения была сплошным праздником, от которого остались только вот эти туфли. Будто стеклянные туфельки Золушки.

В рассказах Эшки не было ни горечи, ни настоящего сожаления. Новая её, тяжёлая жизнь была богата радостями, куда более яркими и острыми. В больницах Эшка видела столько горя, столько страшных случаев, что собственная судьба представлялась ей вполне благополучной. Она хорошо помнила то время, когда не могла ни пошевелиться, ни слова сказать... А вот, слава Богу, и речь у неё в порядке, и разум. И муж её не разлюбил!

Или взять хоть этот гипс... Тоже: ни сесть самой, ни одеться, ни поесть! Каждая житейская мелочь – настоящая беда, испытание. Муж на работе, Маруня маленькая, от матери никакого толку... Годы проходили – а она всё была счастлива, что этот гипс с неё сняли.

Да что там! И без гипса без всякого были времена, когда она даже кусок хлеба себе отрезать не могла. Или там застегнуть на себе юбку. А вот теперь запросто пользуется хлеборезкой, которую Мишенька соорудил ей из фоторезака. Сама одевается...

При этом каждый раз Эшка чувствовала себя победительницей. Был даже какой-то азарт в этой игре с судьбой! Ах, ты мне пиковую девятку? А я тебе червового туза!

Правда, юбок с застёжками она больше не носила, шила их только на резинках. Постепенно из её обихода уходили вещи, которыми она не могла пользоваться самостоятельно. Шились на заказ лифчики с пуговицами спереди, блузки навыпуск. Расчёски покупались с длинной ручкой, а туфли без пряжек и шнуровок.

Разумеется, отнюдь не во всех случаях удавалось так схитрить. Существовала масса необходимых мелочей, которые Эшке приходилось исполнять своей заклиненной рукой – причём в самом неудобном положении. Иногда сделаешь какое-то неосмотрительное движение – и кажется, что кость переломилась. Или откололся по вертикали и застрял осколок. Боль была грубой и резкой, так что стоило большого труда удержать крик. Даже слёзы иногда катились по щекам... Но известно было, что всё пройдет через минуту, через две.

По сравнению с той, грубой болью ноющая или грызущая ночная была вполне терпима. А поскольку Эшка и не ждала уже, что это когда-нибудь пройдёт, терпеть было легче.

Боль потихоньку заселяла, завоёвывала Эшкино тело, но сильнее не становилась. Вслушиваясь в новое ощущение, Эшка с удовлетворением говорила себе: “Можно прекрасно жить и с этим!”. “Жить” и “болеть” для неё давно уже означало одно и то же.

Новая болезнь Эшкин быт дополнительно не осложняла и движений не сковывала. Куда больше её огорчали морщинки, дряблеющие щёки. Седина. Может, оттого, что Лёвка с возрастом хорошел. Уходила потихоньку излишняя, приторная яркость. Та же седина была ему необычайно к лицу. Вместе с подсохшими щеками и подуставшим взглядом она придавала Лёвке незаслуженно интеллигентный вид.

Волей-неволей Лёвке приходилось обновлять гардероб. А Эшкина одежда не снашивалась. “Мне ничего не надо, – отвечала Эшка на любое предложение мужа. – Давай лучше Маруне купим... Сапожки, шубку...”

Марунины подружки уже начинали выходить замуж, то есть самое время было её одевать. Давно уже Эшка отдала ей свои серёжки – те, с розочками.

Может, если бы не эти серёжки – Эшка долго бы ещё не знала о своей новой напасти.

А ведь так всё славно начиналось! Достала Эшка из шкафа чёрную шкатулку с Кремлём, вытащила серёжки, сама их надела Маруне...

Личико у Маруни было куда проще, чем у матери в молодости. Тихое личико, скучное, как пасмурный декабрьский полдень. Но и Эшка, и Лёвка, которые когда-то сошлись на том, что серёжки эти слишком уж утончённые для Эшкиного лица – теперь шумно и искренне восхищались, глядя на смущённо моргающую дочь.

Вообще-то Лёвка считал, что Маруня очень даже красивая девушка. Боялся только, что глупые современные парни не оценят её особого обаяния.

Надо сказать, что в невысокой Маруниной фигурке действительно было что-то очень ладненькое и уютное. Как когда-то в фигурке Эшки. Но размытого её личика, припухших, как бы чуть размазанных губ, больших, бесцветных глаз не оживляла даже радость.

Той ночью Эшка расплакалась. Проспала какой-то час и проснулась – мешали руки. Как ни положишь – тянет. Повернёшься – ломит. В таких случаях она садилась в постели и ждала, пока пройдёт. И вот села Эшка... Посидела, посидела... И вдруг ей стало так жаль чего-то! Вспомнила растерянную Маруню, стоящую посреди комнаты. Длинненькие лёгкие серёжки, болтающиеся у неё в ушах... Вспомнила себя молодую, перед зеркалом... И почему она решила тогда, что не годятся ей эти серёжки?! Так, дурочка, и не надела их ни разу! А теперь они Марунины... И жизнь прошла... И что за жена она теперь для Лёвки? Её, Эшкины ровесницы – ещё видные женщины. Наряжаются. Прогуливаются с мужьями под ручку по городу. Ходят в гости, в театр. А Лёвка, бедный, повсюду один! Не дай Бог заболит! Как тогда? Чем она ему поможет?!

Вот тут она и всхлипнула погромче, отчего Лёвка проснулся и стал допытываться, в чём дело. Эшка попыталась ему что-то объяснить, но Лёвка её не понял.

Лёвка любил жену. Иногда он даже сам удивлялся, до чего её любит. И этой любовью Лёвка гордился, как особо ценным своим качеством. Другие мужья – вон, здоровых жён бросают. Заводят шашни с девчонками-секретаршами...

Эшкины невнятные объяснения вперемешку со слезами неприятно удивили сонного Лёвку. От них отдавало неблагодарностью.

Испугавшись Лёвкиного недовольства, Эшка сослалась на свою ключицу. Ноет, мол, сильнее, чем обычно. Вот этот язык был понятен Лёвке. Он тут же испугался, проснулся... Впервые Эшка ему пожаловалась, даже заплакала...

На следующий же день он потащил её в поликлинику.

Сидя под кабинетом врача, Эшка чувствовала себя виноватой, чуть ли не симулянткой. Она даже обрадовалась на секунду, когда врач нащупал у неё в плече что-то подозрительное... А потом такое завертелось! То есть прямо Эшке ничего не сказали, но она тут же всё поняла. Поняла – и решила притворяться. Так было проще для всех. И для неё, и для Лёвки, и в особенности для детей. Притворялась она очень легко. То ли потому, что не поверила врачам. То ли отбоялась двадцать лет назад, когда наплакалась, вся извелась из-за болезни отца.

Как упоминалось уже, пример Хаим-Шаи на многих повлиял благотворно. В частности, и на Лёвку. Зная диагноз жены, он чувствовал себя вполне спокойно. Будто был застрахован на этот именно случай. И длилось его спокойствие до тех пор, пока не случилась беда со стариком.

Началось, как обычно, с глупой несуразной случайности – с клубники. В том году она созрела слишком рано, и Хаим-Шая чуть её не пропустил. Клубника ему досталась слегка мокрая, но для варенья ещё годилась.

Устроился Хаим-Шая, как всегда, под орехом. Притащил свой примус, медный таз с носиком... Так оно всем и запомнилось, как он стоял среди двора в своей кепочке, снимал пенку и объяснял, почему у варенья, сваренного на открытом воздухе, особо тонкий вкус.

Сердито отгонял Вутину “массовку”: боялся, как бы в погоне за пенкой кто-нибудь не перевернул на себя кипящее варево. И надо же, случилось это с ним же самим, с Хаим-Шаей. Хотел поправить щепку, подставленную под ножку примуса...

Мама тогда чудом достала где-то облепиховое масло. Помню длинное Эшкино письмо, полное благодарности. “Твоё лекарство совершило настоящее чудо! У папы всё прекрасно заживает. Ты папу спасла! Врачи говорят, он скоро поднимется”.

Потом писем долго не было. Младший сын Михаила Гуревича, который останавливался у нас проездом в Ленинград, сказал, что старик вроде бы при смерти, но, кажется, не от ожога, а от чего-то другого. Паренёк учился на физмате и во все эти подробности не вникал.

Так бывает... В доме, где на несколько часов отключилось электричество, вдруг загорается среди бела дня лампочка, и магнитофон с половины слова продолжает прерванную песню... Вот и болезнь Хаим-Шаи, каким-то образом отключившаяся на двадцать лет, заработала, двинулась своим обычным путём – и довольно скоро.

Разумеется, от Эшки попробовали скрыть правду. Но как такое скроешь...

Эшка хотела, чтобы из больницы отца перевезли не домой, а к ней. Но старик наотрез отказался. Попросил только Эшку приехать к нему на такси – повидаться. Эшка приехала. А потом ещё несколько раз. Разговаривали они спокойно, о посторонних вещах. Хватит ли лимонных ниток на последнюю розу. Стоит ли Арончику стеклить балкон... Но, возвращаясь домой, Эшка подолгу плакала. От жалости... От страха, который уже нельзя было развеять, легкомысленно сославшись на пример отца... Домашним она говорила, что плачет от бессилия, от того, что не может сама ухаживать за отцом и все хлопоты свалила на бедного Лёвку с его аритмией и свистящими лёгкими. Лёвка слёз её боялся и стремился поскорее успокоить – причём, надо сказать, не проявляя особой чуткости. “Ну что ты так переживаешь, что ты так убиваешься! Разве я тебя когда-нибудь упрекнул? Или тебе донесли, что я кому-то жаловался?”.

Конечно, Лёвка делал очень много, а под конец даже взял на работе отпуск и почти не отходил от старика. Но всё же он не один ухаживал за Хаим-Шаей. Как ни бестолкова была старая Брайна, она всегда была под рукой и с простыми вещами в общем-то справлялась. Забегала Фира. Забегала Маруня. Наезжал Мишенька – редко, но всегда с большой пользой. Арончик брил отца, пытался взять часть хлопот на себя, но был он так по-детски пуглив, что старались обходиться без него. Даже Райка несколько раз проявила участие: выварила и переполоскала постельное бельё... То есть Лёвке, конечно, доставалось больше, чем другим, но не так уж страшно он надрывался. И старик ему не очень досаждал, умирал терпеливо и опрятно. В определенных случаях просил Лёвку отвернуться или вовсе выйти. Всякие отходы, способные вызвать брезгливость, он сам заматывал в газету и бросал в стоящее рядом ведро. Всё время беспокоился о Лёвке, уговаривал его поесть, прилечь, будто это Лёвке требовались уход и забота, а не ему самому. Лимоны и гранаты стремился переадресовать внукам и очень жалел, что на него тратят так много времени и денег.

То ли Лёвка давно привязался к тестю, но не имел случая это обнаружить... То ли старик под конец открылся своими лучшими сторонами... В его деликатности было что-то, очень напоминавшее Эшку. И от этого Лёвке становилось его всё больше и больше жаль. Особенно в последние дни. Никогда прежде они не говорили так много и так откровенно. Мысли у старика зачастую были совершенно неожиданные. Он, к примеру, считал, что у Маруни характер вовсе не слабый, а, наоборот, твёрдый и даже властный. Больше, чем обо всех внуках, беспокоился он об Ирочке, младшей девочке Арончика: она, мол, слишком нежная. Как Васенька. И родители у неё пожилые... Хаим-Шая не мог простить себе, что не

успел застраховаться в её пользу. “Такой дурак! – сокрушался Хаим-Шая. – Мог обеспечить ребёнка – и не сделал этого!”.

Однажды, в очередной раз выслушав сожаления тестя, Лёвка не удержался. Покашлял – и начал издали.

– Мне неудобно спрашивать, отец... Знаете, как оно бывает на старости... Начинает отказывать память... Вот я, например, чужой журнал забыл в автобусе! Иногда целый час не могу вспомнить какое-нибудь нужное слово... Каждый раз ищущи очки...

Старик сочувственно насторожился.

– Вы же меня знаете... – продолжал Лёвка. – Я никогда никому в руки не смотрел. Всегда старался содержать семью собственными силами...

Старик согласно кивал.

– Для себя мне ничего не нужно! Просто интересно... Откуда люди взяли, что у вас где-то зарыт клад?

– Клад? – переспросил старик и поднял брови, будто не знал такого слова...

– Ну да! Клад. Люди говорят, что будто-то бы вы где-то зарыли золото...

– Золото? – Хаим-Шая напрягся, Казалось, он испугался вдруг, что и в самом деле о чём-то позабыл. – Часы были... Очень хорошие... С цепочкой и брелоками... Штучки такие... Лесенка, сердечко, буква “Л”... Я их продал, чтобы вернуться в Варшаву, но хватило только досюда...

– Не знаю, не знаю, отец! Это не моё дело. Просто люди говорят, что вы сами про это кому-то рассказывали... Ну... Что у вас золото есть...

Лёвка почитал “Известия”... Сходил во двор за водой... Поставил чайник... Стал взбивать яйцо для омлета... И вдруг услышал в плохо прикрытую дверь:

– Что же это я имел в виду?... – И ещё через несколько секунд. – Может, Эшку?... А может, даже тебя, Лёвка...

Той же ночью он скончался. И всё покатилося, поехало...

Конечно, при желании последовавшие затем события можно представить так, что в них будет прослеживаться некий естественный порядок.

Упало старое дерево. Что ж... В тот год Хаим-Шая впервые не залепил его дыры цементом, не подпёр ветви дополнительными “костылями”. Ночью поднялся сильный ветер, отщепил самую длинную ветку – ту, что нависала над Фириным сараем, – и орех, потеряв равновесие, рухнул в противоположную сторону. Как раз в тот год урожай был немисливо богатый – так грохнуло по земле, что все проснулись. Подумали: во двор упал самолёт. Сарай проломило. Хорошо, что никого не оказалось во дворе. Кстати, орехи созреть не успели, но и на варенье они уже не годились.

Было бы, наверно, более складно, если бы старик умер от огорчения. Но вышло как раз наоборот. Дерево упало в ночь после похорон. Так что Хаим-Шая успел полежать под своим орехом в оранжевом гробу. С тем же выражением лица, с которым прожил всю свою жизнь.

В том, что последовало за смертью Хаим-Шаи, удивительным было лишь то, что дерево повело себя, как живое существо. Упало оно чуть раньше или чуть позже – никого бы это не удивило. Как не удивила, например, смерть хилого Арончика.

Вскрытие показало, что сосуды у него были сношенные, не по возрасту хрупкие, будто стеклянные. Свой инсульт он получил бы и от меньшего потрясения.

Хоть и с усами, хоть и в берете и в хэмингуэвском свитере – он оставался ребёнком, уверенным, что без папы мир несомненно рухнет. И падение ореха он воспринял, должно быть, как начало этого разрушения.

Как ни странно, но нечто подобное испытывала и Эшка. Что ж, отец был очень стар, он не мог жить вечно. Но это дерево!..

Орех, посаженный отцом, всегда был для Эшки как бы его продолжением, его голосом. Отец молчал, но дерево говорило. Ласкало, жалело, журило Эшку, встревоженным шелестом предупреждало о том, что надо прихватить с собой зонт или тёплую кофточку...

Со дня рождения жизнь её сопровождал этот шум. Эшка знала самые тонкие оттенки его бесчисленных интонаций. Орех был для неё ориентиром, календарём. Вот появились на дереве первые серёжки-гусеницы – значит, скоро разрешат снять пальто. Его спрячут в шкаф, и там оно пробудет до тех пор, пока листья не станут жёлтыми. Тогда же вынесут из дому в последний раз подушки и одеяла – просыхать на солнце, пропитываться дивным терпким запахом, от которого можно и угореть, если слишком долго играть среди опавших листьев, слишком много занести их в дом, слишком щедро проложить длинными черешками одежду в шкафу.

Дерево наполняло жизнь особым смыслом, упругостью ожидания, радостным азартом. Вот оно зацвело, вот появились крошечные зелёные шарики, а вот уже начали лопаться коробочки. Сорвавшийся орех долго падает, шурша в листве, ударяясь о ветви – и все бросаются к нему наперегонки с жадностью, какую никогда не вызовет обычный орех, один из сотен, сухо рокочущих в крестьянских мешках на базаре.

Дерево – даритель, дерево – защитник. Дерево, которое воевало за неё, за Эшку с грозными ночными ливнями, простирало над ней жилистые руки.

Конечно же, Эшка ни о чём таком никогда не задумывалась. Более того, перебравшись в новый дом, она не скучала об орехе. Кажется, даже не вспоминала о нём. Но когда дерево погибло, Эшка вдруг почувствовала себя сиротой, брошенным ребёнком, стоящим среди плоского пустого пространства, под огромным пустым небом. И больше всего пугала её наступившая тишина.

Трудно сказать, как всё повернулось бы, если бы орех не упал той ночью. Наверно, ничего бы это не изменило. Скорее всего, и больная Эшка, и брат её давно уже держались на этом свете потому, что не хотели разочаровывать своего отца, уверенного, что мир устроен в общем-то сносно, а жизнь в целом переносима.

Как знать... Возможно, и здорового, молодежавого Лёвку сковывала неосознанная ответственность перед стариком...

Впрочем, ещё при Хаим-Шае Лёвка начал отвечать – не без некоторого кокетства – друзьям и родственникам, которые восхищались его героической преданностью жене, примерно так: «Вы не думайте! Не такой уже я хороший! Не такой уже я святой! Просто я всегда вспоминаю, как Эшка сказала одной женщине... Она к ней пришла советоваться, бросить или не бросить калеку-мужа... “А вы представьте себе, что это не ему, а вам отрезали ногу, и это он бы вот так со мной советовался, бросать вас или нет! Как бы вам было? Обидно?» Вот я это хорошо запомнил и всегда себе это повторяю...”

Но каждому было ясно: Лёвка просто скромничает. Тем более, что дальше следовали рассказы об Эшкином удивительном уме. И как бы всё изменилось к лучшему, если бы во главе государства вместо этих дедов, что стоят на трибуне и шапками машут, поставили бы Эшку. А совсем хорошо было бы, если бы её вообще избрали главой Организации Объединённых Наций. Можно не сомневаться: она бы все страны между собой помирила! Уж если она сумела помирить Глузманшу с Биберманшей и Тоню с её вторым мужем... А это куда труднее!

Ну и все прочие Эшкины доблести... Про фаршированный перец, про мытьё полов. Про ковёр. Про то, что букет, вышитый на нём, выглядит совершенно живым – даже страшно! Смотришь на него – и кажется, что он со своего сукна вот-вот обвалится прямо на тебя! Ну и, конечно, про то, какая Эшка всегда спокойная, ласковая. Заботится о других, чтобы им было хорошо и весело. Никогда не вспылит, никогда не огрызнётся, как другие: бросаются на всех, когда у них где-то что-то болит... И вообще никому этого не покажет.

От подобных разговоров какое-то радостное вдохновение начинало бурно переполнять Лёвку. На глазах его выступали слёзы. На глазах его слушателей – тоже. И никто не обращал внимания на то, что Лёвка уходит из гостей последним.

Возвращался домой Лёвка размягчённый, очень хороший. Эшка, как всегда, встречала его возле двери, забирала шляпу, зонтик. Лёвка не замечал того, что дом его стал как бы чуть притихшим, чуть менее живым. Это выглядело естественно: время-то позднее!

И Эшка тоже была чуть притихшая... Ну, ясно – устала за день. И Лёвка привычно отчитывал её за то, что она себя не жалеет, слишком много трудится. “Разве можно тебе вертеться с утра до ночи?! Смотри вон – ты даже похудела!”.

Пожалуй, Эшка не похудела... Скорее как-то съёжилась немножко, подобралась. И что-то появилось в ней... чуть-чуть жалкое, мелочное, суетливое... Лёвке, который только что хвастал её умом и проницательностью, было как-то неловко, грустно слушать рассказы о том, кто Эшке сегодня позвонил, и о чём с ней советовались, и как она в очередной раз оказалась права... Прежде она ничего этого не запоминала, не пересказывала... Как бы вовсе не ценила своего дара.

Может быть, так она пыталась себя приободрить, противостоять болезни. Хотя Эшка по-прежнему никогда не жаловалась, не кривилась, тем более не стонала – не было уже в ней после смерти Хаим-Шаи ни прежней храбрости, ни прежнего равновесия. А Лёвка, не сознавая этого, чувствовал себя слегка разочарованным: будто Эшка его в чём-то подвела...

Если бы они не притворялись! Если бы не делали вид, что Эшка не знает своего диагноза! Насколько всё было бы проще! Он мог бы сказать ей прямо: “Ну да, отец умер, но ведь всё-таки двадцать лет с этим прожил! Может, если б не поганое варенье, ещё жил бы и жил... И ты будешь жить долго! Тебе плохо, у тебя что-то болит... Но, может, вовсе и не от того. В нашем возрасте у всех уже что-то болит! Вот и я сдаю потихоньку: то сердце, то голова, то радикулит! Главное – не падай духом, не поддавайся болезни!”.

Но сказать ничего этого Лёвка не мог. Он только собственные недуги демонстрировал с подчёркнутой откровенностью. Шумно тёр воспалённое колено, тяжело кашлял. Принимая ночью сердечные капли, громко хлопал дверцей холодильника и вслух считал: “Раз, два, три, четыре, пять, шесть...”.

Эшка тоже никак не решалась назвать вещи своими именами. Жалела близких. А ещё... Надеялась, что не названное, не сказанное вслух остаётся как бы не вполне реальным. Ей не хотелось впустить эту правду в дом, как грязное животное, бродящее у двери.

Вместе с тем щепетильная Эшка на всякий случай стала осторожничать: завела для себя особую посуду, отделила себе вещи похуже, не начинала ни новой одежды, ни нового белья... Всё это давало Лёвке повод и благородное право поругивать её, посмеиваться, даже слегка раздражаться, при этом не ощущая собственную вину.

Такому раздражению отчасти способствовало и то, что Эшка в один прекрасный день перевела его с широкой супружеской кровати на диванчик в гостиную. Разумеется, она не сказала Лёвке: “Люди говорят разное... Пусть даже это напрасная перестраховка – от неё-то уж точно не будет вреда! Ведь я о тебе беспокоюсь!”. Тогда бы Лёвка мог – и даже обязан был бы поспорить, высмеять её! Но Эшка сказала по-другому: “Я в последнее время плохо сплю. А ты сильно вертишься, скрипишь кроватью, храпишь... Раньше это мне не мешало, а теперь вот...”.

Лёвка сделал вид, что принял такую версию за чистую монету. Даже как бы обиделся слегка. Хотя на самом деле прекрасно понял Эшкину уловку и был ей благодарен.

Поскольку Лёвка был ещё мужчина, скажем так, в полном соку, нерастраченная энергия стала у него выплёскиваться по мелочам, главным образом – в неприличных шутках. Ему доставляло удовольствие с проникновенным вздохом сказать в большой компании, за столом, что-нибудь вроде: “Да-а... Годы берут своё! Прошла наша молодость! Вот уже и рука не та... И глаз не тот... И ружьё заржавело... даёт осечки...”. При этом взгляд у него был вполне самодовольный.

Такими шутками он вгонял в краску своих ровесников, у которых с этим делом всё обстояло гораздо хуже. У Нуськи, например.

К тому времени Лёвка стал бывать у Нуськи довольно часто. Не потому, что ездил к нему в гости специально. Дело было в том, что после смерти Хаим-Шаи появилась новая проблема – Брайна. Даже при умирающем Хаим-Шае её существование было как-то обустроено и незаметно. А тут вдруг она проявилась, будто только что родилась! Оказалось, что того старуха не может, того не умеет, этого боится...

Поначалу Лёвка заходил к ней, заносил продукты, воду, помогал по дому. Но уже к осени ему это надоело. Лёвка устал и согласился с тем, что проще будет забрать старуху к себе.

В старом доме Брайна родилась, выросла и съезжать оттуда не соглашалась. В конце концов Лёвка додумался сказать ей, что это больной Эшке нужна её материнская помощь...

“Помощь” Брайны заключалась в том, что она часами сидела неподвижно на стуле у окна. Покорно шла на кухню, когда звали есть. Спала в одной комнате с Маруней. И в общем-то была бы неощутима, если бы не занимала надолго туалет. Прямо-таки пристрастилась к этому дару цивилизации! Возможно, ей было спокойнее в маленьком замкнутом пространстве, запертом на крючок.

Хозяйство постепенно переходило в руки Маруни. Со второго курса учёба в техникуме занимала у неё совсем немного времени. И музыку, и спорт она давно бросила. Увлечь Маруню вышиванием Эшке так и не удалось. При этом Маруня могла часами следить за работой матери, за медлительными и ловкими движениями её одинокой ручки. Но участвовать в работе она наотрез отказывалась. Мотала головкой даже с некоторым испугом. Возможно, она догадывалась, что Эшка старается научить её всему на тот случай, если сама не успеет закончить ковёр. Такое допущение, пусть даже высказанное в очень завуалированной форме, было для Маруни совершенно непереносимо.

И каким же праздником стало для неё окончание работы! Как и для всей семьи. Лёвка поспешил повесить ковёр, чтобы не дать Эшке перепороть бутоны в правом верхнем углу. Чем-то эти бутоны её не устраивали. А, может, её угнетало то, что работа над ними совпала со смертью брата.

Повесили ковёр в спальне напротив Эшкиной кровати. Это была единственная в квартире стена, целиком свободная от мебели. Освещённый сбоку, так что проявлялся особенно эффектно рельеф каждого цветка, ковёр выглядел просто ошеломляюще. Эшка, увидев впервые дело рук своих целиком, опешила точно так же, как и Лёвка с Маруней. Даже заплакала. От восхищения, от благодарности судьбе, позволившей ей довести дело до конца. Если бы она знала наперёд, что именно так всё сложится, она бы меньше спешила и кое-что могла бы сделать куда лучше! Она даже забыла отстраниться от Лёвки, который крепко обнял её и гладил, приговаривая: “Фу! Дурочка! Что же ты плачешь?! Сделать такую красоту – и плакать! Жалко только, что отец твой этого не видит!” – “Вот об этом я и плачу, – всхлинула Эшка и указала пальчиком на злополучный угол. – А вон то место я всё-таки переделаю. Только отдохну немного – и переделаю...”

– Второй папа! Всё ей не так! Как её папе! – прокряхтела в дверях старуха. Оказалось, что и она стоит тут же.

Разумное её замечание всех удивило. Впрочем, и до того от неё слышали одну разумную вещь, слишком часто, правда, повторяемую. Касалась она оставленной комнаты: её, мол, надо протапливать и проветривать, не то вещи сгниют. Сколько бы раз в день старуха ни столкнулась с Лёвкой, она спрашивала: “Ты ко мне сегодня заходил?” И Лёвка рывал тихо: “Заходил! Заходил!”

Ну, не каждый день – но заходил он достаточно часто. Не столько ради старухино барахла, сколько ради конспирации: демонстрировал соседям, что комната не заброшена. Топил. Проветривал. Поливал шелудивый столетник, выставленный на окне. При случае

говорил соседям и дворнику, что скоро перевезёт старуху домой. На самом деле он хлопотал о том, чтобы переписать комнату на Маруню.

Иногда Лёвка заезжал по выходным, иногда после работы. Курил с Нуськой на лавке, глупо торчащей среди двора возле низкого корявого пня. Ужинал у брата, чего прежде не любил. Всё это время в комнате Хаим-Шаи за голубыми шторами горел свет. “Ты бы зашёл туда, сам бы показался в окне, – советовала хитрая Фира. – Посиди, посмотри телевизор... Включи его погромче. Потруси коврики, вынеси ведро, чтобы все видели...”

Лёвка слушался. Иногда в коридорчике он сталкивался с Райкой, одиноко разогревающей свои холостяцкие харчи. Райка мало постарела. И не то чтобы похудела... или обвисла, но и не была уже надута так туго, как прежде. При этом пнуть её почему-то хотелось ещё сильнее – кулаком или даже ногой. Так, чтобы влетела задом в собственную дверь.

Стыдясь этих своих ощущений, Лёвка старался побыстрее пройти, не вступать с ней в разговоры. Но и ссориться с Райкой, грубить ей – тоже было не с чего.

Однажды она пригласила его зайти... Лёвка сказал себе, что хочет заглянуть в комнату, где прошли его лучшие годы, хотя видел и рубаху под плохо запахнутым халатом, и босые толстые ноги, выжидающее выражение которых было ещё более внятно, чем выражение поумневших, беззастенчивых глаз...

В тот день Лёвка вернулся домой даже раньше обычного, но Маруня, отперев ему дверь, почему-то спросила: “Где ты был?”. Лёвка невнятно буркнул: “Ходил топить...” В тихом и тусклом голоске Маруни ему вдруг почудилось что-то жёсткое, металлическое...

Возможно, Маруня и прежде встречала его этим же вопросом, а он просто не обращал внимания. Лёвка попытался вспомнить – и не смог.

С тех пор на подобные вопросы дочери он стал отвечать довольно грубо: “Где хотел – там и был! Я не обязан докладывать!”. Маруня не обижалась и вообще вроде бы не замечала, что отец стал раздражительным.

Не замечала она и того, что у Лёвки начались проблемы с обувью... Конечно, если подумать, и в этом не было ничего сверхъестественного: просто Эшка больше не могла заниматься его ботинками и тапками, а сам он, хоть и старался, но, очевидно, что-то упускал, не делал вовремя...

Возвращаясь домой, снимая пальто в своей чистенькой, прямо-таки образцовой прихожей – застеленной ковриком, с кокетливым светильником над высоким зеркалом, с тремя краснолицыми богатырями в золотистой раме – он мгновенно улавливал знакомый запах, который просачивался из обувного ящика. И ему казалось, что кони под богатырями именно потому и воротят морды.

Этот почти забытый запах он почувствовал однажды на заводском совещании. Едкий, омерзительный, он шёл вроде бы из-под стола. Раздражённый Лёвка отодвигался, морщился... В конце концов он не выдержал, встал и отошёл в другой конец комнаты. Но запах двинулся за ним, и Лёвка понял, что разит от его собственных ботинок... Будто вонь отчего дома, швейцарского детства, спрессованная, долго таившаяся у него внутри – высвободилась, наконец, и всю поперла.

Постыдный запах родины... Он таился в смеси “Красной Москвы” и рижских духов, которыми щедро поливалась Райка, отстоявшая на ногах целый день среди овощей, колбасы, селёдки и яблочного повидла. Он же валил из щербатого рта Вути, непрошеного защитника нравственности.

Если бы не Вутя – никто бы ничего не узнал. Уж очень благоприятная была ситуация! Тем более что на изысканную Райкину любовь требовалось минут десять. Но то ли Вутина шпана за ними подсматривала, то ли Вутя сам догадался...

Скандал он закатил на весь двор, долгий и шумный, как свадьба.

– Ты-ы! Ты-ы! Подлая! – надрылся Вутя. – Гуляющая ты! Одного мужа бросила! Второго мужа бросила! Детей разогнала в Калининград! Бедная девочка там одна, как сирота! Некому поехать и найти этого подлеца, который её обманул! А теперь? Теперь у благородной женщины мужа отбиваешь?! У хозяйки у твоей, что ты ей в подмётки не годишься! Ногтя ты её не стоишь, который она на ноге отстригла! Ты мне не сестра, а ты мой вечный позор на всю на мою жизнь!! Мне Лиля из Чехословакии пишет: “Зачем тебе эти неприятности, папа? Откажись от неё, и всё!”

Райка стояла на веранде, перебирала какой-то хлам. Закончила и спокойно ушла.

А Вутя... Как плохо затушенный костёр, он каждый раз разгорался заново, стоило во дворе появиться новому человеку...

Так что и без Тони всё дошло бы до Эшки. Разве что чуть позже.

Нет. Всё-таки не зависть погнала Тоню к больной подруге. Хотя... Многие слышали от неё горестные рассуждения вроде: “Вот как оно бывает в жизни! Красивую, здоровую жену муж бросает, а какую-нибудь инвалиду любит и по курортам возит!”

И Эшку муж по курортам не возил, и Тоня не была красива – она даже здорова не была... А вот муж её действительно бросил. И первый бросил, и второй. Ушёл к распутной буфетчице-алкоголичке. Мало того! Как раз в то же время развелась с мужем и молоденькая дочь Тони. Главное, Тоня так гордилась, так хвастала тем, что её Вита вышла замуж первая среди ровесниц! А они и года не прожили... Одно только успел зятёк – пожрать всё варенье, скопившееся у Тони за несколько лет. Ложкой ел прямо из банок! Без чаю! Сам даже в техникуме не доучился, а работу ему подавай чистую, каким-нибудь начальником! Целыми днями валялся на диване из румынского гарнитура, так что в новой вещи продавилась яма.

Особенно обидно было Тоне то, что она не успела его выгнать. Пока решалась – он сам ушёл. И ещё болтал по городу, что он, мол, не мог больше терпеть такую неряху...

Да она их просто возненавидела – всех, всех мужчин на свете! И злорадование Тони относилось вовсе не к Эшке, которую она с детства считала существом особенным, достойным необычной судьбы, а к ним, к мужчинам. Раз уж даже Лёвка оказался таким мерзавцем, как все – значит, и ей, Тоне, нечего удивляться, нечего гневаться на свою незадавшуюся жизнь.

Вот с этим-то открытием она и побежала к Эшке...

Как раз в тот день Лёвка задержался на работе. Был конец месяца. План горел. Сырьё получили негодное. С утра Лёвка бегал по заводу, ругался, спорил. Почти что сорвал голос. Несколько раз на ходу бросал под язык валидол, но сердце не переставало ныть. Не то чтобы сильно, однако тащиться в темноте топить тётшину печь он не захотел – хотя и пора было.

Дверь ему открыла Маруня и, будто записанный на магнитофоне, задала свой несносный вопрос:

– Где ты был?

Усталый Лёвка не огрызнулся. Молча прошёл мимо неё в гостиную, где перед включенным телевизором дремала старуха. Эшкино кресло стояло пустое с несмятым покрывальцем. Не обнаружив жены на её обычном месте, он сначала почувствовал что-то вроде облегчения, но потом испугался и поспешно протопал в спальню...

Спальня была пуста. Тускло светилась люстра. И краски на огромном ковре тоже почему-то казались тусклыми и неприятно зеленоватыми. За стеной стучала кастрюлями Маруня.

Лёвка подался было назад искать жену – но вдруг увидел её. Эшка сидела в углу, слева от двери, похожая на готового броситься, загнанного зверька. То ли Лёвка давно не присматривался к ней, то ли она так невозможно изменилась за какой-то день...

Нывшее с утра сердце будто вдруг исчезло куда-то.

– Что с тобой? Тебе плохо? – спросил Лёвка.

– Плохо, – ответила она, и Лёвка заметил, что лицо её продолжает меняться... Углублялись тёмные тени вокруг глаз... отползала вниз складка у рта, перекашивая набок губы...

Было ясно, что она всё знает. И с каким-то жадным, тяжёлым нетерпением Лёвка ждал, когда же она, наконец, заговорит.

– Как ты мог...

Если бы на этом она и закончила, Лёвка обрушился бы перед нею на колени. Целовал бы её пальчики, ножки. Серую кофточку! Пол! Ковёр!

Но Эшка неумело передвинула копящиеся в горле слова и всё-таки вытолкнула стоявшие первыми:

– И с кем! С кем! Да если бы я узнала... про хорошую, благородную женщину... Я бы... поняла! Но эту! Эту...

Лёвку вдруг оскорбило презрение, брезгливость, которую ей никак не удавалось облечь в слова. Он вдруг распрямился и бухнул грубо:

– Для ловца – любая рыбка хороша! – и ещё добавил, чтобы не дать Эшке говорить дальше. – И чем это она так уж хуже тебя?!

Что-то высвободилось, наконец, в Эшкином горле, ухватило нужное движение и тембр. Она закричала.

Так кричали каждый день соседские женщины, загоняя в дом непослушных детей, споря из-за бельевой верёвки... Но так не могла кричать Эшка.

– Не дождался! Не мог ещё каплю потерпеть! Всё, всё изгадил! В самом конце! Растоптал! Грязными ботинками!

Лёвка уже набросил пальто и захлопнул дверь, а она всё кричала. И было слышно с лестницы: “Чтоб ты пережил меня на один день!”.

Лёвка бежал по улице, расхристанный, без шапки, не соображая, куда именно бежит. Точно – не к брату. Он знал, что отныне и близко не подойдёт к дому тестя. Знал, что больше не сможет даже подумать о Райке. Она стала ему до тошноты противна. Но ещё противнее была ему – Эшка. Злая! Заразная! Кусающаяся из остатков сил, как подышающее животное! Её поджатая рука, искривлённое лицо, согнутая серпом спина... Господи! Как хотелось её добить! Отомстить за гнусную её несправедливость, наказать за неблагодарность! Броситься с моста, как та отчаянная гимназистка! Лететь! Лететь у всех на виду! Разбиться в кровь! Вдребезги! Пусть бы ей позвонили из морга! Привезли в закрытом гробу сюрприз! “Коробку конфет”!

Ветер рвал на Лёвке распахнутое пальто. Хлопали тяжёлые полы, как бы готовясь к полёту... Далеко внизу в провале темнела и дрожала редкими огоньками убогая Лёвкина родина. Он стоял, свесившись над перилами моста, рывками дышал, будто откусывал и сплёвывал куски холодного колючего воздуха. Тёр ладонью грудь, злорадно прислушиваясь к обжигающей боли и желая, чтобы она стала ещё сильнее.

Нет, он не испугался этой глубокой черноты. Не пожалел себя. Не пожалел Эшку. Не пожалел Маруню. Просто вдруг повернулся и пошёл домой.

Мелкие снежинки поблёскивали в воздухе, похожие на случайно сдутый ванилин. Лёвке казалось, что начинает светать. Звонить в дверь не хотелось, но он всё-таки позвонил. Сделал это с мучительным усилием. Так гордый, нераскаившийся мальчишка заставляет себя просить прощения у родителей.

Маруня открыла ему тотчас. Наверное, она стояла у двери. Проходя мимо дочери, Лёвка изумился выражению её лица. Будто в доме ничего не произошло, будто он просто

вернулся с ночной смены. И голос у неё был такой же, как всегда, и с той же неизменной бесстрастной интонацией она спросила:

– Где ты был?

Лёвка, не отвечая, прошёл в гостиную.

– Ты будешь кушать? Жаркое подогреть?

Лёвка не ответил и, не включая свет, улёгся, одетый, на своём диване.

На работу он ушёл очень рано. Без завтрака. Выходя, услышал за спиной чьё-то приближающееся шарканье и поспешил захлопнуть дверь.

Весь день Лёвке было плохо, но в медпункт он не зашёл. Шептал про себя злорадно: “Ничего-ничего – я могу и раньше!”. После неопрятного столовского обеда его ещё и затошнило вдобавок. Вечер надвигался досадно быстро – тяжёлый, грозный. Возвращаться домой было невыносимо, просто невыносимо. Но он всё же вернулся. Отпер сам.

Почему-то ему показалось, что в доме никого нет. Он решил, что Эшка с Маруней и старухой перебрались куда-то. Скорее всего – к жене Арончика. А, может, и к Мишеньке. Или к кому-то из подружек. Какая разница – небось, все уже в курсе!

Бродить по дому Лёвка не стал, но на этот раз он разложил диван и постелил себе честь честью. Полежал. Встал, набросил поверх одеяла плед, снова улёгся. Кто-то закашлялся за стеной, прошлёпали босые Марунины ноги... И Лёвка, отчасти успокоенный, заснул.

Ему приснилась Одесса. Потёмкинская лестница... Молоденькая Эшка легко взбегала вверх. “Ну вот видишь, – говорил ей Лёвка. – И что ты так боялась лестниц? Столько лет понапрасну дома просидела!” “Да ведь это совсем другое! – удивлялась его наивности Эшка. – Смотри, что у меня есть! – И она кокетливо изогнулась, как бы желая похвастать обновкой. Между бретельками зелёного сарафана красовались два белых гусиных крылышка. Они похлопывали, то вставая торчком, то аккуратно ложась поверх лопаток. – У меня теперь сколько угодно времени! Я теперь всё-всё перепорю и вышью заново!”

То был четверг. Так же прошла и пятница. В субботу Лёвка остался дома. Он долго лежал в постели, решая, как быть: есть или не есть приготовленный ими завтрак. Решил демонстративно ограничиться чаем и куском хлеба.

Маруня сидела на кухне.

– Пожарить тебе картошку или омлет? – спросила она обычным своим голосом.

”Она-то в чём виновата? Её за что мучить? – подумал, теплея, Лёвка и сказал: “Омлет”.

Лёвке стало как-то свободнее. Показалось вдруг, что он вернулся из долгой командировки. Что скандала никакого не было. Так... мелкая размолвка...

– Что нового дома? – спросил Лёвка, отковыривая вилкой кусок омлета.

– Мама не встаёт уже два дня, – спокойно, без испуга и укоризны ответила Маруня.

– Что она говорит? – спросил Лёвка, не находя нужной интонации.

– Ничего. Молчит.

Маруня налила ему чай. Положила две ложечки сахара, стала размешивать. Заученные, покорные жесты. Большие голубые глаза... Невинные, чуть мутные, некрасивые...

– Врача вызывали? – поинтересовался Лёвка, будто речь шла о соседях или сотрудиниках, о людях, ему, в общем-то, несимпатичных.

– Вызывали.

– И что?

– Сказал, что мы должны быть ко всему готовы...

Лёвка недоверчиво усмехнулся. Он знал, какой упрямой может быть Эшка, когда дело касается принципов.

Только дней через пять Лёвка решился, наконец, заглянуть в спальню. Неподвижная Эшкина голова лежала глубоко в подушке. Глаза строго смотрели в потолок... Он отступил в коридор и снова почувствовал то же, что и несколько дней назад. Что Эшки здесь нет – оттого дом и кажется таким пустым, таким неживым. Лёвка достал из кладовки лампочки, выкрутил

старые, поставил яркие, по сто, по сто пятьдесят ватт. Но это ничуть не помогло. Дом не оживал, Эшка не возвращалась в него.

Должно быть, врачи были всё-таки правы. Хотя... Лёвка помнил, как много лет назад, в нейроотделении, Эшка лежала совсем вроде бы без сознания, и врачи говорили, что она ничего не слышит и не понимает – а она всё прекрасно слышала...

Кто знает... Маруня уверяла, что когда рядом никого больше нет, Эшка следит за ней. Или часами разглядывает свой ковёр. То в один угол уставится, то в другой... То бродит по центру, от розы к розе...

Как бы то ни было, Лёвка запрещал врачам прямо при Эшке говорить о её диагнозе, о приближении конца. Сердился, когда умелая Фира, делая перевязку или меняя постель, возмущалась божьей несправедливостью и называла вещи своими именами. Уводил из комнаты бедную бесполезную Таню, как только та начинала плакать.

Иногда – если, конечно, никого не было дома – Лёвка ходил из комнаты в комнату, как неприкаянный. От стены к стене... Дом казался не только пустым и неприветливым, но как бы выстывшим. Лёвка думал, что такое, наверное, всегда происходит с домом, откуда ушла женщина. Он чувствовал себя так, будто Эшка бросила его. Случалось, чтобы избавиться от этого чувства, Лёвка заглядывал в спальню. Стоял на пороге тяжело, бессмысленно, порывался что-то сказать. И не мог. Что сказать? Оправдываться? Вспоминать их счастливое прошлое?

Несколько раз он собирался с духом, чтобы попросить прощения. Но так и не решился. Что-то не давало. К тому же Эшка могла принять это за прощанье, за окончательный приговор...

Возвращаться с работы не хотелось. Будь Лёвкина воля, он и не возвращался бы в этот дом, ночевал бы у себя в кабинете. Возле парадного он всегда задерживался, выкуривал папиросу. И мог бы так стоять часами, если бы не жалел Маруню, которой не под силу было самой поменять постель.

Весь декабрь был туманный, ветреный. Под ногами черно, слякотно, а вокруг и в небе противный, как кисель, серый туман... И только в день Эшкиных похорон пошёл лёгкий крупчатый снежок. Могильщики хвалили землю: мол, не промёрзла...

Говорили речи... Все – одно и то же. Сотрудники, соседи по новому и по старому дому. Особенно красиво выступили Вера Сафонова, которую Эшка уговорила не разводить сына с бесплодной женой, и Давид Нудельман, которому она посоветовала продать старенький тёщин дом. Все ждали, что скажет Лёвка...

Лёвка сказал:

– Ну вот, Эшка... День прошёл... Давай, забирай меня за собой! Мне тут делать больше нечего...

И вдруг у Лёвки перестало болеть сердце. Что-то как бы щёлкнуло в нём... и стало легко – будто какой-то непонятной волей возвращено ему право на чудесное его прошлое, на все его драгоценные воспоминания... Возвратилось желание хвастать. Вдохновенное, как желание писать стихи. Хвастать Эшкиным умом. Эшкиным ковром. Эшкиным личиком...

И дома оказалось так неожиданно хорошо, так прозрачно и ласково! Лёвка почувствовал эту перемену, ещё отпирая дверь. Казалось, Эшка не покинула только что этот дом, а, наоборот, вернулась. Тайком от всех вернулась с полпути. Они себе ехали на кладбище в двух больших автобусах, думали, что провожают Эшку, везли гроб, говорили речи, прибавляли крышку, плакали, бросали вниз мокрую землю... А она потихоньку улизнула в суете и, ничем уже не скованная, взялась приводить в порядок свой дом. И теперь уж, со всем своим умением, начнёт устраивать их дела. Так что можно ни о чём не беспокоиться.

А ведь так оно и получилось! Как за смертью Хаим-Шаи посыпались одно за другим несчастья – так за Эшкиной смертью пошла удача за удачей.

Оказалось, что Лёвка перенёс на ногах инфаркт, но как-то очень просто и легко выздоровел. После месяца в санатории он почувствовал себя моложе лет на десять. Сосед по палате научил его обтираться снегом, бегать трусцой и, главное, не осторожничать.

Поначалу Лёвке было слегка боязно, но он послушался совета бывалого сердечника и в конце концов так осмелел, что стал подниматься по лестнице на пятый этаж без остановок и таскать по двадцать килограммов картошки. Участковая врачиха ужасалась и скандалила, но в конце концов должна была признать, что и общее состояние, и анализы у Лёвки гораздо лучше, чем до болезни.

Сталкиваясь в городе с Райкой, Лёвка больше не краснел, не шарахался, так что она сперва обрадовалась. Воспрянули её робкие надежды на законный брак с родственником умершего мужа. Ради того, чтобы остаться с красавцем Лёвкой, Райка была готова не только признать путаные еврейские законы, но и себя признать еврейкой. И даже оставить Маруне с бабкой Лёвкину трёхкомнатную квартиру.

Однако вскоре Райка поняла, что доброжелательное спокойствие Лёвки толковала превратно. Лёвка просто всё забыл. Да и ей самой постепенно стало казаться, что ничего между ними не было. Конечно, она была разочарована, но не обозлилась. Тем более, что как раз тогда Васеньку повысили в звании и назначили старшим механиком на большое торговое судно.

Парень, который обманул и бросил Людочку, раскаялся и вернулся к ней. И родители его попросили прощения за то, что вынудили её сделать аборт. Причём на этот раз молодые честь честью расписались в загсе, устроили настоящую свадьбу, на которую Райка была официально приглашена. Но самое главное, что, вопреки прогнозам гинекологов, Людочка почти сразу же забеременела.

Когда тихо и аккуратно умерла во сне старая Брайна, Райка отвоевала в райисполкоме её комнату и сделала из бывших “хором” Хаим-Шаи вполне приличную современную квартиру. Эту квартиру она хотела обменять на Калининград, чтобы быть поближе к детям, но желающих меняться так и не нашла.

Соседи говорили, что оно и к лучшему. Что Райкиным детям будет спокойнее, если такая мамаша останется где-нибудь подальше.

Кажется, после всех этих счастливых перемен, следующих одна за другой, и стали впервые намекать на чудесное вмешательство покойной Эшки. Все знали, как она любила детей Арончика, как переживала за них. Складывалось такое впечатление, что там, на небе, сам Господь советуется с Эшкой: как бы это половчее устроить судьбу Людочки и Васеньки?

Действительно: взять хотя бы этот Райкин несостоявшийся обмен. Не странно ли, что из такого города, как Калининград, никто не захотел перебраться поближе к теплу и к фруктам?

И ведь как раз в то же время вдова Арончика за три месяца нашла обмен на Москву! Причём квартиру получила почти равноценную. Ну, не в центре, конечно, но совсем близко от метро “Измайловский парк”. После этого уже прямо, вслух заговорили о чуде.

Таня и всегда-то любила Эшку, а тут вообще икону из неё сделала. Повсюду рассказывала, как Эшка её уговаривала сдать Ирочку в музыкальную школу. И вот незадолго до вступительных экзаменов покойница приснилась Тане. Стояла она, очень веселая и красивая, на Красной площади, в очереди возле мавзолея, махала рукой и кричала Тане: “Куда вы идёте? Идите сюда! Я же сюда вас звала!”.

Соседка сказала Тане, что сон этот очень плохой. Но Таня истолковала его по-своему. Забрала Ирочкины документы и повезла её в Москву, в Центральную музыкальную школу. И что же? Ирочку признали особо одарённым ребёнком и приняли по классу скрипки! Тогда же, в Москве, Таня подала объявление через бюро обмена...

Да... Тут было о чём поразмыслить...

Или вот ещё такое... С чего бы это вдруг Мишенькина рационализация, которой уже несколько лет не давали ходу, заинтересовала республиканское начальство?! И без всяких проволочек Мишенька получил патент на изобретение, а вдобавок большую сумму в руки. Но и это оказалось только начало! О Мишенькином изобретении узнали немцы и пригласили его на работу в Германию. Вернулся он через два года и на сертификаты купил без очереди трёхкомнатную квартиру! Навезли из Германии и мебель, и посуду, и одежду, и ковры...

Интересно, что на таком богатом фоне не пропадал и не терялся ковёр, вышитый Эшкой. Он висел на стене в гостиной, и к нему торцами были приставлены два бархатных дивана.

Мишенькина жена привезенные ковры положила на пол. Она говорила, что это обыкновенный ширпотреб, а вот ковёр, вышитый свекровью – произведение искусства. Ещё она говорила, что их ковёр ярче и красивее, чем Марунин. Дело вкуса, конечно. Несомненно, Марунин ковёр был и изысканнее, и совершеннее. Но странно: стоило только согласиться с этим – и тут же становилось обидно за пестроватую и более простодушную сирень с тюльпанами. Чего-то в ней действительно было больше... может быть, радости открытия. Так что никому не было обидно.

Марунин ковёр тоже висел на отдельной стене. Под ним стояло кривоногое супружеское ложе югославского производства.

Собственно, замужество Маруни и можно считать главным из всей этой серии чудес. Красивый и очень добрый паренёк заметил Маруню в автобусе... То есть сначала он обратил внимание на съехавший с головы чёрный платок и необычные серёжки: крошечную розочку, зависшую в золотой ажурной сеточке. Паренёк не поленился протиснуться вперёд и увидел огромные заплаканные глаза Маруни. Разглядел и славную фигурку. Он был очень стеснителен, даже робок, пожалуй, но тут не выдержал и спросил: “Девушка! Отчего вы такая грустная?”

Маруня не унаследовала ни ума, ни обаяния матери, ни её слабенького гибкого голоса. Но так же, как и мать, она была в ладу с жизнью. Не раздражалась ни на её досадные мелочи, ни на крупные неполадки. Она жила спокойно и размеренно, как живут часы. Именно этим Маруня и очаровала мальчика, выросшего в скандальной, надрывно опекающей семье.

Лёвка, всегда склонный преувеличивать достоинства дочери, после знакомства с её женихом побежал к брату и, рассказывая, даже изумлённо за голову хватался, будто выиграл “Волгу” и не может в это поверить.

Ясно, что Марунина свекровь тоже хваталась за голову... Уж как она сопротивлялась этому браку, уж как она убивалась! А чем кончилось? Тем, что старуха привязалась к Маруне, как к родной дочери. У старших невесток на неё не хватало ни времени, ни терпения. Обижались из-за каждой мелочи. Если надо было поделиться, посоветоваться, звонили своим матерям. Маруня же то ли не замечала, что её приняли в штыки, то ли считала, что это справедливо. Регулярно звонила, подробно докладывала свекрови о том, что готовила на обед вчера, что собирается делать завтра... О своей ленивой начальнице, об участковом гинекологе, о новых яслях, о том, что муж не хочет носить кальсоны. Она любила бывать у свекрови в гостях, всегда искала, чем бы ей помочь.

Несомненно, в этом было что-то Эшкино. Не говоря уж о кулинарных или хозяйственных успехах Маруни. Свекрови нравилось всё. Даже то, что Маруня явно командует мужем – никогда, правда, не повышая голоса.

В отличие от Тани Маруня не говорила вслух, что жизнь её сложилась так счастливо благодаря Эшкиному вмешательству. Возможно, она так и не думала. Но когда тяжело болели дети или случалась в семье какая-нибудь неприятность – на собственную пугающую мысль или чьё-то предостережение Маруня уверенно отвечала бесцветным своим голосом: “Мама этого не допустит”. И, действительно, неприятности улаживались, дети выздоравливали,

роковые диагнозы оказывались ошибочными, взамен испорченной вещи быстро доставали новую, причём лучшего качества. Дважды и, можно сказать, без потерь выздоравливал после инфаркта Лёвка. У Нуськи без операции и практически без приступа вышел из почки здоровенный камень. Трижды выигрывали лотерейные билеты и один раз – трёхпроцентная облигация...

Тут можно, конечно, иронизировать, спорить... Согласимся: действительно, облигации иногда выигрывают. Одарённых детей принимают в музыкальные школы – тем более, если национальность у них записана по матери. Внедряются в производство изобретения. Дурнушки вообще часто выходят замуж за красавцев!

Но не подряд же! Не одно же за другим!

Результатом такого удивительного стечения обстоятельств стало то, что город начал приписывать благотворному вмешательству Эшки чуть ли не каждое выздоровление или свадьбу. При этом все были убеждены – и убеждение это только усиливалось с годами, – что особенно везёт людям, к которым Эшка хорошо относилась. Иногда даже спорили, к кому она относилась лучше. Вутя на базаре хвастал, что именно к нему. Вспоминал никому не ведомые истории, цитировал какие-то особо проникновенные Эшкины слова.

Вуте, как всегда, никто не верил. И вдруг – нате вам! Чеха Вутиной долговязой Лильки приглашают на работу в Америку, в этот самый всем известный Голливуд. Мало того! Немного осмотревшись, она вызывает к себе в гости двух сестёр, шепелявую Женьку и рыжую Марину – и буквально на второй день пристраивает их сниматься в массовке...

Вутя повсюду таскал за собой Женькино письмо, где она сообщала, что фильмы в Голливуде снимаются непрерывно и везде, так что такой большой семье, как у них, запросто можно прожить и одними массовками. Окрылённый Вутя ходил по улицам родного города и оглядывался с презрительным недоумением, будто только что заметил окружающее убожество. “Конечно! – повторял он повсюду. – Что нам здесь делать? Заработки от случая к случаю... Надо перебираться к Лиле!”

Когда по истечении трёх месяцев вместо Жени и Марины пришло сообщение о том, что Лиля выдаёт их замуж – в городе окончательно прикусили языки. А бедная Тоня, разводная дочка которой так никого себе и не нашла, перестала ходить к Эшке на кладбище. И когда речь заходила об Эшке, обиженно поджимала губы.

Была ещё одна странность, отчасти смягчавшая тайную досаду отвергнутой Райки: с жёнами Лёвке не везло. Умирали, прожив с ним по два, по три года. С первой он даже на “ты” не успел перейти. Так и звали друг друга: “Лев Моисеич” и “Римма Исаевна”.

На Римме Исаевне Лёвка женился, можно сказать, по расчёту. Хотелось, чтобы и у Маруни была своя трёхкомнатная квартира, пусть и не такая шикарная, как у Мишеньки. Вдобавок устал он от Маруниного, в сущности, безобидного контроля. “Где ты был?”. “Куда ты идешь?”. Лёвка понимал, что Маруня и не думает командовать. Даже не ревнует. Просто хочет знать, где в случае чего искать отца, перенесшего два инфаркта. Тем не менее, он пресекал любые поползновения ограничить его независимость. Вместо того, чтобы спокойно ответить: “Хочу прогуляться” или “Зайду к дяде Нусе”, он бросал на ходу что-то грубое, или – ещё грубее – молчал. А потом, сидя в садике и вспоминая беззащитные глаза дочери, принимал валидол.

Но жить с Риммой Исаевной оказалось не проще, чем с Маруней. Она стремилась дотянуть Лёвку до своего уровня. А уровень был приличный – заведующая кафедрой в пединституте. Из всех женщин, с которыми приставали к нему многочисленные свахи, Лёвка выбрал именно её, помня последние слова Эшки: “Если бы я узнала про хорошую, благородную женщину...”

Но Римма Исаевна оказалась излишне благородной. Она была из тех учёных дам, которые и на секунду не могут забыть о своей учёности и выглядят так, будто их образование – тяжкая, изнурительная ноша... Особенно неприятно это было, когда собиралась на семейных торжествах Лёвкина бездипломная родня.

Прохладнее всех к Римме Исаевне относилась Маруня. Но виду она, конечно, не подавала и была с мачехой подчёркнуто приветлива. Лёвка старался сводить их как можно реже.

К Маруне Лёвка ездил сам. Особенно он любил, когда Маруня просила его посидеть с ребёнком. Убаюкав малыша, Лёвка начинал ходить по пустой солнечной квартире и разговаривать вслух.

Так же, как в день похорон, он почти физически ощущал присутствие Эшки. Гордо водил её из комнаты в комнату, показывал новые вещи, приобретённые детьми. “Видишь, какая стенка? Чешская. Красиво – да? А наш буфет... Помнишь, как мы в очереди стояли? Бегали отмечаться! Одолжили у Клавы семьдесят рублей, а она потом сказала, что сто... Так вот, Эшка! Они наш буфет разобрали и выставили во двор! Не спросили: можно, нельзя... Ну да ладно! Пуска-ай! Соседи говорят, что дворничиха вызвала из Швейцарии сестру, и та его забрала. А как тебе Мишкин гарнитур? Мы такое только в музее видели!”

О собственных приобретениях Лёвка ей не рассказывал. И не потому, что считал это неуместным – просто забывал. То был дом, то были вещи Риммы Исаевны.

Лиды Малерман...

Лизы Фуксман...

Лёвке и в голову не приходило, что Эшка как-то способствует их странной недолговечности. В конце концов – женился он не на девочках... Ждать же от Эшки, что она станет и о них как-то особенно заботиться, было бы уж слишком! Правда, умирали они – все, как на подбор – легко, тихо, без мучений.

Однажды Лёвка даже сказал старичку, с которым играл в шахматы:

– Вот как это понять?.. Все эти мои женщины... с которыми я сходил... Они были хорошие женщины... Но до Эшки им всем – как... от земли до неба! И что же? Они умерли, как святые, а она, бедненькая, так намучилась! Где же справедливость?

Старичок снял своей пешкой Лёвкиного коня и ответил:

– Что мы знаем об этой жизни... Что мы знаем о Той жизни... И что такое хорошо? И что такое плохо? Может, как мы тут сейчас сидим и друг перед другом хвалимся, у кого был тяжелее инфаркт – так и души на небе. Соберутся вместе и хвалятся друг перед другом, кто из них тяжелее умирал...